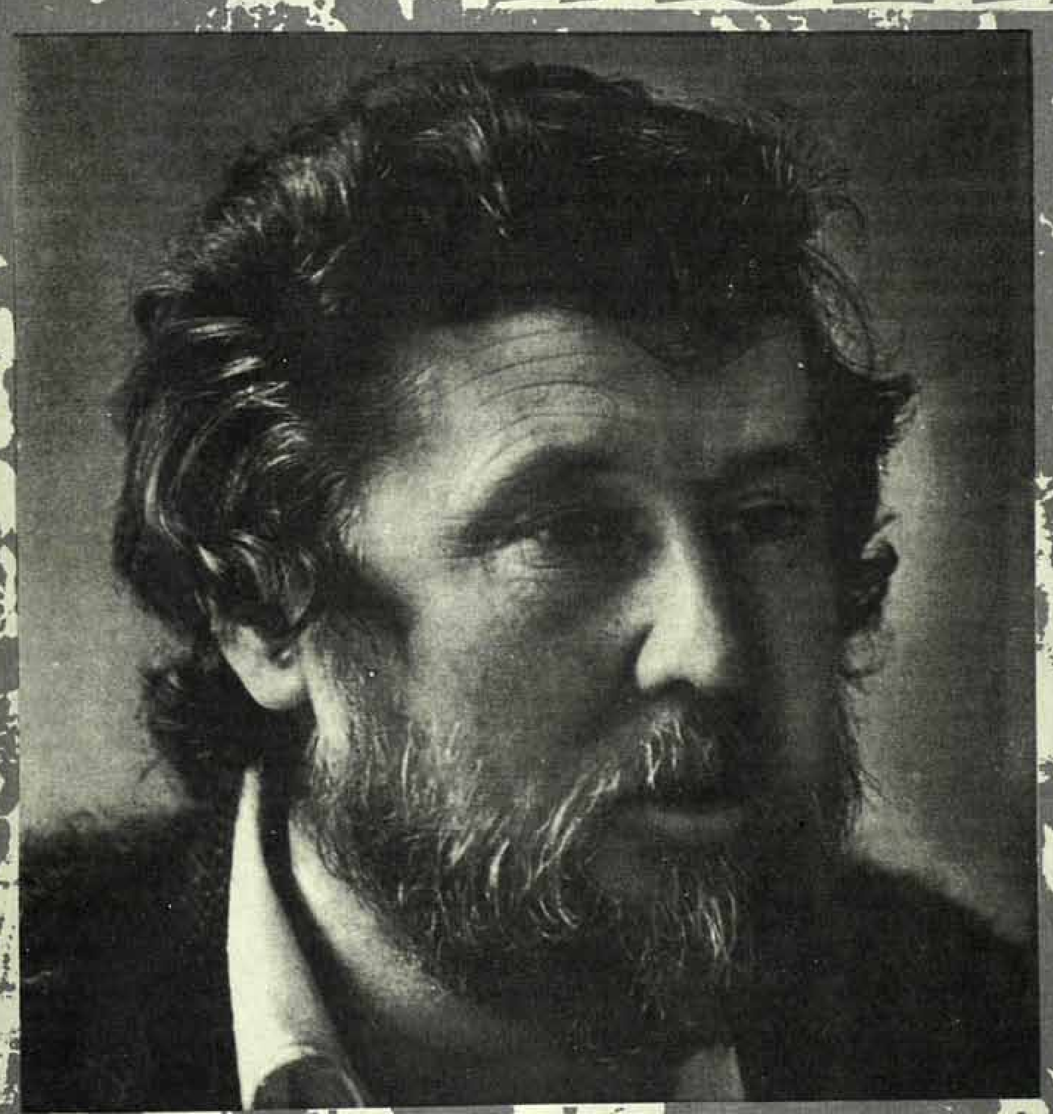
№ 9 (943) · 1982

РОМАН-ГАЗЕТА

ISSN 0131-6044



ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН

КРЫЛАТАЯ СЕРАФИМА

ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН

Владимир Владимирович Личутин родился в 1940 году в городе Мезени Архангельской области, в семье учителя. По материнской линии, рассказывает писатель в «Древе памяти», были в его роду все больше землепашцы, предки же по отцовской линии занимались морским промыслом. В Поморье прошло его детство, там он учился в школе и лесотехническом техникуме, работал слесарем.

Закончив в 1969 году факультет журналистики Ленинградского университета, Личутин несколько лет работал в Архангельске на радио и в областной газете «Правда Севера».

Первая повесть В. Личутина «Белая горница» была опубликована в журнале «Север» в 1972 году. Вслед за нею появились повести «Иона и Александра» (1973), «Обработно — время свадеб» (1973), роман «Долгий отдых» (1974). Во второй половине семидесятых годов вышли повести «Бабушки и дядюшки», «Душа горит», «Последний колдун», «Золотое дно». Последние работы писателя — роман «Фармазон» и повесть «Домашний философ».

В 1974 году В. Личутин принят в Союз писателей СССР.

Владимир Личутин принадлежит к современным русским прозаикам, которые пишут главным образом о деревне. Суровая северная земля поморов — место действия почти всех его произведений. У писателя свой голос, свои проблемы — стиля, сюжетного искусства, миропонимания.

Повести «Крылатая Серафима» и «Вдова Нюра», предлагаемые в этом номере, были встречены с интересом литературной критикой и читателями.

РОМАН-ГАЗЕТА
ОСНОВАНА В 1927 г.
№ 9 (943)
1982
ИЗДАНИЕ ГОСКОМИЗДАТА СССР
МОСКВА

ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН

КРЫЛАТАЯ СЕРАФИМА

ПОВЕСТИ

ВДОВА НЮРА

Из хроники поморской деревни

Не та мать, которая родила, а та, которая взрастила.

Кинь добро назад, а оно очутится попереди.

Поморские присловья

I

Речку Нюра Питерка прошла разгонисто, по-мужски размахивая руками. С горушки понесло далеко, и снег, подбитый морозом, похрустывал и неровно прогибался под кундами, но совсем не крошился, и оттого скользить было легко, а лыжня, неясно продавленная в насте, быстро стекленела. Было уже далеко не утро, но день под мглистым низким небом так и не ожил по-настоящему и едва теплился, до краев наполненный безрадостной морозной тишиной. Ресницы у Нюры заиндевели, даже веки ломило от ледяной навеси, и, когда обтаивала голой рукой наморозь на лице, сразу услышала пальцами стужу и скорее сунула ладонь в шубную рукавицу. Тут же вскользь подумала: «На весну повернуло, а вон как садит. Зима свое возьмет. Дровам-то опять расход».

Деревня уже показалась лицом, едва видная из-за сугробов, вся обметанная куржаком, и навалы снега свисали прямо с крыш над верхними оконницами, и только черные сажные вытайки вокруг печных труб говорили, что Вазица еще жива и не осиротела вовсе. Тут опахнуло дымом и легкой навозной киселью, наверное, на скотном только что выметали наружу из-под коров. Нюра эти запахи сразу впитала в себя, и душа ее, невольно обрадованная близкому жилью, чуть оживилась.

Близ домашнего берега виднелось затулье, слаженное из снежных кирпичей основательно, порой сбоку сновала большая запеленатая в платы голова, знать, у майны сидела баба и удила наважку. Нюра вот так же три вечера сидела с фонарем и промыслила довольно, не меньше трех чунок, если насыпать внавал, и только ради любопытства единого она сейчас сломала лыжню и покатила к затулью, потому что женский интерес и с самим чертом обвенчает: захотелось Нюре узнать, кто же такой настырный колотится здесь в осатанелый мороз, когда хороший хозяин и собаку не высунет на двор, когда самое время, ей-богу, лежать на печи и калить поясницу.

А эту женку, видать, мороз не долил: она сопела порывисто и натужно и, накренившись над майной спеленатой головой, настырно водила удой вверх-вниз, и вода, мгновенно схваченная стужей и густая, как

сироп, тяжело и стеклянно намерзала на леске. Наверное, завидев чужие ноги, женка запоздало подняла лицо, до багровости опаленное стужей, и по зорево сочным щекам, по яркой зелени глаз и горбатому вислому носу признала Нюра первую на Вазице рыбачку Польку Таранину по прозвищу Наважья смерть. Около нее у растоптанных каменных валенок лежали впаянные в лед три невзрачные наважки, больше похожие на рыбьи тени, которыми бы и кот побрезговал, столь они были постны, невзрачны и большеголовы в своей мгновенной скрюченной смерти.

— Клев на уду, Полюшка,— хрипло сказала Нюра Питерка застуженными губами и толстую шаль сразу потянула повыше, закрывая рот. «Сироте самой надо поопасаться, сироте самой надо спасаться, одинокую никто не пригреет».

— Хрен на блюде. Не стой надо мной, проходи стороной. Это не ты, бабушка Питерка? Ой-ой, в кои веки! Думали, с медведем обручилась. — Наважья смерть бросила снасть поперек проруби, рукоять уды была вырезана в виде ладони, пальцы сложены в истинный православный знак и, крашенные белилами, походили на замороженную и странно жуткую человеческую кисть. — Не признала разве? Креня удыти, еговы. Как бабка помирала, дак я откупила. С истинным крестом. Ой-ой. С этой лешовой рыбкой вся соплями обмерзла.

— Кто и неволит. От жадности боле...

— Да никто не неволит, но охота пуще неволи. Такой задор берет. Зашла бы когда, слышь, баба Нюра? Тебя-то я хочу видеть. Потерла бы меня в баньке, у тебя руки-то стары, да ласковы. Ты заходи, рыбки красной дам. Много не дам, а на зуб положу.

— Зубов нету, все съела...

— Ой, баба Нюра! Я тебя хочу видеть. А ты небось все сохатинку поедаешь. Бывало, я коклеты в Архангельском из сохатинки ела, порато скусны-ы. Ты заходи, это я Аниську вашу не могу видеть, сразу трясет всю, век не прощу, заразе, как на первого мужика глаз положила, да и за Гришенькой тоже юбкой порато трясла. Рожа-то бесстыдна. Ты заходи, баба Нюра, слышь, что ли? — кричала Наважья смерть уже вдогон, голос ее был пронзителен и тонок и, казалось, позванивал от мороза, готовый заледенеть. Но Питерка не оборачивалась, а, низко сутулясь и подмаргивая слепнущими от наморози глазами, присматривалась к реке, чтобы не наткнуться лыжами на ледяные торчки. «И чего ревет, глупа, запалит горло,— вяло думала Питерка, безо всякой на то связи вспоминая прошлую Полькину жизнь. — Со вторым уж двадцать лет постель делит, а все первого поминает. Гришка тоже хорош, кобелина. Чужу бабу не упустит, изгильник».

Нюра поднялась в деревню, избы обметало февральскими снеговеями, и потому дорога местами наросла выше нижнего жила, и можно было даже заглянуть через окна в верхние горницы, запущенные на зиму, в которых стужа долит сильнее, чем на воле, и потому стекла не обмерзали, а как бы слегка запотели и залысели. Единственная дорога, посыпанная сенной трухой, зальдилась: недавно были оттайки, а нынче вот прощально грянуло. Колея взгорбилась, заморщинела и пожелтела. Питерке стало жаль лыж, покрытых лосиными камусами, и она сошла в сторону. Была середка дня, и бабы, постукивая подшитыми катанками о череп дороги, помахивали дерматиновыми сумками, спешили в лавку, порой они оборачивались, словно их кто толкал в спину, ширили ноги и долго и любопытно приглядывались к Нюре, и чудилось, что по всей деревенской улице от бабы к бабе перекатывалось глухо: «Питерка катит». Тут из-за угла вывернулась Симка, средняя Аниськина девка, вся опухшая и зареванная; она шла, спотыкаясь валенками, и фанерный чемоданчик колотился о неровно обрезанные голяшки.

— Ты-то пошто не в школе, невеста? — спросила Нюра, раскутав рот. Посреди деревни было куда теплее, и от шали стало потно до мокроты, а может, и надышала она в плат, и оттого потекло на подбородок. — Зареванная вся, утекла ведь. Аль случилось што?

— Спустили нас... Товарищ Сталин умер... Как жить-то теперь будем?— по-взрослому рыдая, обкусывала слова Симка и тут снова вся утонула в слезах.

«Царствие ему. Мертвого не похулю»,— отрешенно подумала Питерка.

— Как жить-то теперь будем, баба Нюра? — повторила Симка, кусая опухшие губы, и взрослая печаль была в оплывших глазах.

— Поди давай, глупая. Всю красоту выревешь. Как жили, так и дале... Поди давай, глупая,— растерянно хрипела Нюра и уже потянулась всем телом к девке, чтобы приголубить ее и осушить слезы, но Симка вдруг гневно фушкнула, отшатнулась, сухо и недоверчиво вглядываясь в старуху, а потом озлобленным, пересыхающим голосом выплеснула:

— Ты... как можно... ты ничего не понимаешь, вот... в лесу своем сидишь, как Баба Яга.

— Христос с тобой, чего мелешь-то, Серафима? — пробовала притушить Нюра этот горький задышливый выкрик, в котором уже не было слезы, да только где там, живо взыграла девка, развернулась на стоптанных пятках и ускочила прочь, только пальтушка завилась меж ног.

«Царствие ему. Мертвого не похулю»,— снова отрешенно подумала Нюра, провожая взглядом надломленную Симкину спину.

Около магазина она сняла лыжи-куйды, воткнула их стоймя в сугроб напротив крыльца, потом как-то ласково и бережно смахнула с голубенького ящика зальдившийся снег и, словно в капкан, сунула под козырек письмо.

Какая-то бабенка в цветастом полушалке стояла невдалеке, любопытно наблюдая за Питеркой, и сразу же неловко и словно бы безразлично отвернулась, поймав Нюрин приценивающийся взгляд. «Видела ведь, сорока. Разнесет по деревне. Ну и пусть»,— решила Нюра, забираясь по крутым ступенькам в магазин. И только она скрипнула набухшей дверью и переступила порог, каменно топая исполинскими валенками с загнутыми носами, как сразу все поверну-

лись от прилавка в ее сторону и ожидающе замолчали, цепко схватывая глазами все Нюрино обличье.

Была Питерка высока даже в старости, и квадратная оленная шапка с длинными, по пояс, ушками высила еще больше, да и пол-то в лавке был покатым от дверей, и потому женки, что пересуживали в магазине и жались вдоль прилавка, выглядели совсем коротышками.

Магазин был полон застоявшихся запахов дегтя, звериных шкур и всякого кованого железа, которые в выстуженной комнатенке казались еще гуще; на окнах висели ставенки, и сквозь щели едва сочился грязный зимний свет. Потому дубленое, с тяжелыми складками Нюрино лицо казалось азиатски черным, а светлые глаза поблескивали в глубоких провалах нелюдимо и сурово.

Питерка прошлась взглядом, буркнула что-то под нос, передернула плечами, на которых висела старенькая, неровно подбитая по подолу малица. Среди ящиков и кулей старуха разыскала толстую от одежд продавщицу Тоську с красными гусиными руками и отдельно ей поклонилась, и Тоська, розовея туго набитыми щеками, сразу потянулась и засветила подле весов керосиновую лампешку. Видимо, старый разговор поднадоел, все было обговорено, а с новым человеком появился и свежий интерес, потому продавщица оживилась более всех, огладила гусиными ладонями выдающиеся бедра, покрытые несвежим фартуком, и зачем-то оправила на грудях плюшевую жакетку. Так готовилась продавщица Тоська, словно завидела незнакомого фартового мужчину, да и остальные бабенки как-то по-куриному оправляли на себе одежды, охорашиваясь, чтобы выглядеть пригляднее, и вся эта процедура случалась каждый раз, когда Питерка навещала магазин. Сегодня это ощипывание особенно бросилось в глаза, и старуха невольно подумала, сердясь и волнуясь: «Что я, чудо-юдо, чтобы так на меня таращиться? Иль глупа я, проказа?»

— Вождь помер, а вы тут стенки отираете,— сказала Питерка грубо, сняла с головы оленную шапку, и снежные, как куропачье крыло, волосы с легкой желтизной на висках так и остались лежать косицами на просторном черепе и морщинистой шее.

— Вождь помер, а вы колоколите,— повторила Нюра, оценивающе подступая взглядом к полкам с товаром.

— А мы уж наревелись. Господи, как и жить тепере,— откликнулась продавщица Тоська, готовно шмыгая напудренным носиком. Бабы тоже завздыхали следом, притуляясь к прилавку; горестной печалью повеяло, и стало тут совсем зябко и скорбно.

Митя Нечаев сидел у печки на корточках, подпирал остывшую стенку, смолил махру, высвечивая огнем диковатое свое лицо, и неряшливо гундосил, контуженно захлебываясь словами и разбавляя их частым матюгом: «Зелезо в огне, зелезо кругом... одно зелезо в огне. А мы вперед, за Родину, за товарища Сталина... ура. Во как все было. Кто не уцелел, дак там и остался».

Он засмеялся странно и болезненно, в груди у него заикало, и Митя Нечаев не мог остановиться, а бабы участливо и досадливо, мучаясь, что не могут помочь мужику, долго пережидали горловой клекот и молчали. Потом Митя затянулся покрепче махрой, наверное, подавил икоту и спокойно засипел, снова уйдя в себя.

— При ем-то завсе снижения. Так и норовишь, как весна, так и снижение. А радости-то сколько, а радости!

— И хлеб-то свободно. Наголодались, кажись. А давно ли житничка не каждый день замесишь, да с травкой-то. По нужде-то сходишь, дак будто зверь сходил.

— А Анисьи-то Селиверстовой, бат, рылся медведь в подорожниках. Страдали когда на сенокосе. Порылся медведко, а ести не стал. Даже зверь не тронул наших сухариков, во какая еда была! А нынче пошто бы не жить?

— Да...

— Всё думали, вековечный человек. На какой ведь вышины числился, осподи, а его старуха с косой и подобрала. Знать, чужого века не заберешь. Помнишь, Дуня, как пели: «За товарища за Сталина не страшно умереть».

— Кого-то дак и смерть не долит,— вдруг сказала Дуня, встряхивая завитой головой: мужика война прибрала, осталась бездетная Авдотья на двадцать пятом году ни бабой, ни мужней женой, а колотухой-сиротой. Но жизнь-то манит, тревожит жизнь, весь прошлый вечер на каленый гвоздь крутила отросший волос, потом до полуночи в голос ревела, а нынче была полна горького раздражения. — Кому надо жить, дак те головы положили...

«Эй, сиротеюшка, поплакать тебе еще, пореветь. Не завидуй моим годам, когда сам себе предоставлен,— подумала Питерка, легко угадав, в чей огород закинут камешек, но ни капельки не огорчилась. — Кто какой есть, так для себя. Всех бог дал, да не всех уравнял».

...«А Екимушке сегодня поминка, двадцать четыре годика, как нетути сыночка моего. Екимушка-то пората грамотный был, памятный такой, много всего знал, а я-то глупа и стара, и почто же бог меня не призывает. Эта-то жизнь временна, а там бесконечна,— неспешно думала Нюра, заталкивая в пестерь ковриги хлеба, да сахар глызами, да пикши солененькой два хвоста — вечерком надо будет сварить да осолониться, вот жаль только трещечки не завезено, у той мяско-то белое да волокнистое, как-то лучше желудок к себе допускает...»

Так сама с собою толковала Нюра, а цепкими глазами снова и снова обшаривала магазинные полки с бедными деревенскими обзаведениями, все вспоминала, не забыла ли чего, чтобы лишний раз не торить в деревню лыжню, несколько раз ее взгляд споткнулся о толпу запотевших «злодеек», и Нюра, задоря себя и зажимая душу, чтобы не расплакаться, мысленно прикинула мятые рублевки. Потом крикнула смущенно:

— А ну-ка, девка, подай-ка вон ту голубушку-сугревушку. Да не ту, эка ты неловка, а в беленькой посуденке, вроде бы она приглядистей.

— Никак, сватов ждешь, баба Нюра? — не преминула уколоть Дуня, напирая на Питерку литой грудью, натуго обхваченной застиранной фуфайкой.

— Ну и привязка же ты, Дуняха. Чего старую старуху травишь? Делать тебе нечего? — пробовали бабы усовестить и оттереть в сторону заводную женщину. — Сами-то эки же будем, того не минем. Ой, не дай, господи, до старости сиротой дожить.

— Не, эки-то не будем, не-е... Какая она старая, вы что? Да она любому мужику салазки загнет. Ты чего, глуха, баба Нюра? Про тебя ведь говорим.

А Нюра только скользнула по усталому Дуниному лицу светлым равнодушным взглядом и, отвыкшая за годы одинокого лесового сидения не то отругиваться, а даже лишнее слово бросить громко, смолчала опять.

— Баба Нюра, как лиса-лисавета поживает? Дружно с курами-то? — перевела продавщица разговор на другое. — Ты бы ее раздела, хитрованову. Мне на воротник.

Еще бы неделю назад при этих словах Питерка замахала бы испуганно рукой: «Мол, поди ты прочь, господь с тобой, какие слова извергаешь! С патрикеевной мы в ладу живем, она кур моих отличает, не пакостит, она у меня послушливая, голубеюшка. Только захочет сбаловать, а я ей: не станешь слушать, то уеду от вас. И давай котомку собирать. Лесовая душа, а понимание имеет. Как кошачка, давай у ног виться, уж такая хитрованновна...»

Но нынче Питерка промолчала, и на тяжелое лицо набежала хмурость. Питерка сделала вид, что не расслышала Тоську, задрала подол малицы, потом полу пиджака отогнула и откуда-то из ватных штанов выудила узелок, тут же распотрошила его неловкими пальцами. Рублевки она перебирала долго, словно боясь промахнуться и передать лишку, или пожаливала денег, достающихся тяжело. Помощи Питерке ждать неоткуда, всю жизнь на охотничьей тропе, а лесовикам пенсия не полагалась, и потому не столько от старческого скопидомства, обычного в эти годы, как от неотвязного страха — а как далее-то жить, — и от суеверного уважения к каждому грошу тряслась над узелком Питерка.

— Это что, сударушка? У тебя глаза молодые, — хитрила Нюра, протягивая бумажку и цепко держась за нее железными пальцами. — Не хватит, еще надо?

— Ой, баба Нюра. Лишнего не возьму.

— Да кто вас знает, баловных.

— А про лису-то как? На воротник бы...

— Отвяжись, чего пристала. Боле не зайду тогда. — Нюра натянула шапку, пестерь закинула и, тяжело ступая пудовыми валенками, на которых отпечатались белые рубцы от лыжных ремней, пошла на выход. Набухшая дверь хлюпнула, и в зыбком полумраке, едва разбавленном жидким светом семилинейки, еще долго стояла грустная тишина, которая обычно живет в доме после покойника. Наверное, каждый в эту минуту судьбу Нюры Питерки примерил к своей: кто-то вспомнил войну, кто-то — близкую старость, кто-то — вдовье, неприкаянное одиночество, потому так и стояли, вздыхая, пока чей-то голос не спугнул морозную тишину.

— Двух журавлей Питерка всю зиму держала. Печку выклевали ей да мох из пазов вытаскали. Подобрала где-то. А потом зайца опять выхаживала, тот не с год ли жил, все стекла начисто высадил. А ныне вот опять лиса...

— Одинокий человек любой животинке рад.

— Да...

— А пошто в сиротский дом не пойти? Устроили бы.

— «Не пойду, — говорит. — На своей местности лучше помру...»

— А она еще потянет, долго протянет.

— Кто знает? Своего веку никто не мерял. Вон какой человек был товарищ Сталин, на самой вышине числился, уж все, наверное, кушал, чего хотел, а и тот...

— С нервов, наверное. Говорят, все с нервов.

А Тоська завернула рукав плюшевой жакетки, ближе к лампе потянула кисть руки, чтобы взглянуть на часики, а больше всего — показать обновку бабам: время было час, и продавщица задула лампу. В щели ставен пробился неожиданный радостный свет, слепящий глаза, и оказалось, что в магазине не так уж и мрачно.

2

Похожее на монашеский колпак радио, пришпиленное к сельсовету, разносило тягучую грустную музыку, скорбную, словно церковная панихида, но от этой печальной музыки небо не замутилось хмарью, а, наоборот, развиднелось, освободив багровое ярило, и наполнились синью отроги сугробов. Оказывается, музыка жила сама по себе, и воспаленное от морозного жара солнце скатывалось за сопку, следуя своим привычкам, и баба, стороной обежавшая Нюру, была занята своей избой, сиротской вдовьей житухой и ордой ребятишек. «Значит, не бог был, раз ничего не случилось. А то бог... бог, — подумала Питерка, надевая кунды. — Наверное, его отпевают, панихиду без попа правят».

Нюра никогда не называла вождя по имени: он жил в ее памяти, как ОН, как что-то вознесенное, ну вроде кучемской горы, и далекое, словно город, в котором она лишь однажды бывала, да и то не по своей воле. В тридцать шестом Нюра Питерка не пошла голосовать, она не хотела глядеть на щучье обличье Вани Соска, тогдашнего председателя сельсовета, а не то еще отдать за него свой голос. «Глупости какие-то, разве можно свой голос отдать? Куда я без голосу тогда». Но за ее голосом приехали в розвальнях три дюжих мужика, и она встретила посыльных с ухватом: «Не пойду за антихриста голос отдавать». Тогда Нюру и увезли в Архангельск.

Через неделю Нюру Питерку высунули из города, иди, куда хочешь, только глупостей вслух не мели и береги язык при себе. Постояла баба около ворот, [illegible] о стену, крашенную липкой известкой,

одиноко ей стало и страшно, куда податься в чужом городе, где голову приклонить, вот и стала стучаться в дверку с дыркой, обратно проситься: «Куда я попаду, мне ведь далеко. Забирайте не то обратно. Откуда взяли, туда и привезите». А наутро ее посадили в сани, запихнули в охранный просторный тулуп и отвезли назад в Вазицу.

...От пронзительного голубого и белого сияния слегка подбило глаза, они набухли слезой; корявыми пальцами, стянутыми к ладоням вечными мозолями, она пробовала протереть веки и вдруг почему-то всплакнула, часто промокая ноющие глаза углом шалевого плата. «Вот глупа тетерка, чего реву-то? — бормотала Нюра, поднимаясь в верх деревни к Аниськиному дому. — Как корова разревелась дак».

Анисья вместе с дочерью Симкой сидела в переднем углу, у них были набрякшие, потухшие лица и вяло опущенные рты. Симка увидела Нюру, сразу вскочила, дернув плечиком, и укатилась в горницу, плотно прихлопнув за собой дверь. Зырянского покроя Аниськино лицо с далеко выпирающими скулами было сегодня заревано: обычно его красила непотухающая улыбка, а нынче тонкая щель рта плотно сомкнута, и что-то застывшее и птичье проступило во всем облике невестки.

— Разоболакайся, чего встала? — встретила она тусклым голосом. — Малицу-то скинывай в углу. Господи, слыхала, нет?

— Чего слыхать-то?..

— Серафима моя белугой ревет, успокоить не могу. И у самой как икнет, так и покатит. Чужой вроде бы, а пуще родного. Не ждали, не думали, а помер, вроде отца был. Как жить будем?..

— Куда денешься, природой постановлено. А свято место пусто не бывает.

Нюра сбросила в угол малицу, сверху шапку, тут же оставила великаньи валенки с загнутыми носами, но пошла в передний угол с пестерем и громоздко поставила берестяной кузов на лавку.

Была Питерка плоскогрудой и высокой, голова под самый воронец, даже пришлось пригнуть куропачьей белизны голову, сухие мослы выпирали из-под мужского пиджака, обвалянного оленьей шерстью, мужские же ватные штаны, заправленные в своевязаные носки, пузырились в коленях и засалились.

Анисья молча потащилась к шкапику, сразу взялась за самовар, что поменьше, загремела ковшом и словно бы забыла Нюру, оставила в одиночестве. Старуха обежала взглядом знакомое жилье, приметив чисто намытый крашеный пол и тесаные стены, оклеенные газетой, и медную посуду, видно, недавно натертую песком: она уловила всю скромную радетельную чистоту и осталась довольна, что племяннику Мартыну Петенбургу досталась такая рачительная, пусть и с приплодом, женка.

— Где сам-то? — спросила Нюра, отмечая некоторую грузноту Анисьи, ее утиную походку. «Неужто понесла? — подумала сразу, схватывая знакомые приметы. — Мартыну бы радость».

— На работы сам-от...

— Ну да. Тоже надо, — согласно качнула головой Питерка и опять уселась прямо и строго, сложив изработанные руки на колени. — Вчерась сон видела, будто бежит корова в рыжих копейках. А потом будто и платок утеряла и думаю умом: что-то голова зябнуть стала. Нынче все чего ли привидится. А когда сполнится, тогда и сбудется.

— Плохо лежала, дак приток крови.

— А нынче каждое место болит... — Нюра стала озираться вокруг, отдохнувшими глазами проглядела семейный иконостас, нащупывая одну, давно знакомую фотографию. Первый муж Анисьи сидел на венском стуле, широко расставив ноги в бахилах, крупные ладони, повитые жилами, словно бы отдельно от тела отдыхают на коленях, лицо у Клавдия бугристое, квадратное, тонкая прядка волос начесана к узким застывшим глазам. Подумала: экий же и всамделе был простофиля, последнее отдаст. Везет Аниське на мужиков. Рядом с Клавдием стоял он, Семейко Нечаев, рыбацкие бродни до самых рассох, ладонь на плече приятеля, брови строгие, в упор заведены, на голове шапка зимняя пирожком, над верхней губой щетинка усов... «Любый ты мой, господи. Поминал ли когда, или не было словно».

— Слышь, Анисья, это когда заснимывались? — не поднимаясь с лавки, ткнула в коричневую деревянную рамку, источенную жучком.

— Уж какой раз спрашиваешь. Влюбилась, что ли? — Анисья ладонью обмахнула фотографию, близоруко всмотрелась, словно что заново хотела разглядеть, не узнанное ранее. — Не пил, не курил Клавдеюшка. А ушел на войну, и более все. Это он после гражданской где ли, со зеробойки шли и в Архангельском отметились. Тоже форсуны были.

— А я Семейку-то знала, того, в стоячку который. Бывало, на первую мировую походил, так в нашем доме ночевал. У свекра тогда народу какого-то дивно собралось, избу забили, диво ли, всех-то девок восемь штук, да парней трое, да отец с матерью, да бабка с печи не слезала. Семейку-то ночевать в запечье повалили, а бабка-то ворочалась, видно, и квашню во сне спехнула. Тот и вылетел, орет, мы понять ничего не можем, Семейко весь в тесте, давай с него соскребать. Ой, смеху-то было, так до утра и не спали боле. Теперь уж где ли тоже старик...

— Как не старик-то.

— Моему Екимушке бы нынче пятьдесят три... Семейко-то зажал было в сенях, дак платье в подмышках лопнуло, дьявол такой. Клятвы-то еговой век не забыть.

— А все они для одного дела клянутся, — усмехнулась Анисья.

— Тебе-то грешно такое наговаривать. На мужиков-то ты повезенка: что первый, Клавдейко, такой уж тихоня был, то и племяш мой, уж не похулишь, пальцем не задиет... А я, как было провожала Семейку, на крыльцо вышла, греховодница. — Нюра снова небрежно ткнула скрюченным пальцем в выцветший снимок и попала бывшему ухажеру в лоб. —

Вышла на крыльцо да плачу, а громко-то реветь нельзя, грех велик, я уж тогда вдовела, дак будто соринка в глаз посунулась. Я эдак-то пальцем ковыряю, а слез и пригоршней обрать не могу: «Ой, Семеюшка, ты Семеюшка, тебя боле не видать». И как в воду глядела. А он на заулке-то стоит и тоже будто плачет.

— Раньше почто-то не сказывала. Ну, Анна Ивановна, когда все открываться стало,— шутливо погрозила пальцем Анисья и как-то порывисто и неровно расцвела вся, обливаясь румянцем, засуетилась на стуле, сбивая коричневым гребнем мелкие кудряшки. Потом убежала в запечье, словно скрывая свою нечаянную радость: многим ли так на Вазице повезло, многим ли, и помоложе бабоньки сиротеют с войны. Уже из запечья, не показываясь, спросила глухо, горловым голосом, будто бы плакала там:

— Каково нынче бе́лки-то?

— Белки-то много, дивья зверя нынче, да у бабы Нюры глаза боле плохи,— сказала Питерка о себе в третьем лице. — У бабы Нюры глаза вовсе пропали, на живодерню бы свезти, как худу кобылу.

— Да как ты живешь там одна? И неуж страх не долит? Переходила бы не то к нам,— сказала Анисья дрогнувшим голосом. — Изба наверху порозная...

— А вот так и живу, голубеюшка,— сказала Нюра, оставив без внимания последние невесткины слова... «До меня ли тут, прости господи. Своих-то дитешей полна лавка, да брюхата ходит, а я еще тут, ремочница старая, досадить буду». — Так подумала Нюра, а вслух откликнулась: — Парно-то, Анисьюшка, люди никогда жить не будут. Один живет — красуется, другой — позорится, не живет, а существует. Родитель-то мой — безотцова сирота, и мати — безотцова сирота, и я тешона не бывала, ремков шелковых не нашивала.

— Ну полно тебе, баба Нюра...

— Дак ты, голубеюшка, посмотри, как стары-ти бабы, сыроежки трухлявые, живут, которы в одиночестве. Всю жизнь горб ломили, все изломались, мужевьев война позабирала, так кому они нынче нужны? Полена дров никто не привезет, ни что другое. Как себя обиходишь да оприютишь, так и живешь. Хорошо, я пока в силах, сама управляюсь, а не замогу боле? Вот дожили до чести, головы боле некуда пришатить. Много детей — худо и мало — худо.

Намолчалась в одиночестве Нюра, а сегодня набухла ее старая душа, переполнилась всем передуманным, и хлынула горечь через край: хоть бы успеть высказать все, хоть бы не забылось, что в затайках, припомнить сразу да выплеснуть, тогда легче будет жить-доживать. Пока не видела Анисья, старуха подтянула к себе пестерь и добыла из него бутылку водки, с пристуком установила посередке стола.

— Смерть придет и дома, наверное, не застанет. Где ни то застанет в кабаке, и бутылочка в руке. Ты слышь, Анисья, как в песне поется.

Анисья высунула голову из запечья, увидела бутылку, только ахнула, руками всплеснула:

— Ты на что тратишься, баба Нюра? И неуж деньги лишние завелись?

— Лишних денег веком не бывало. Но день-то какой, Анисьюшка, и неуж забыла-а,— всхлипнула Нюра, некрасиво скривившись залубеневшим от ветров лицом. — Эх-эх, Аниська, едри твою палку. Ты уж не помнишь, какой я была. Головой-то под матицу, и десять чашек вина кряду выпивала по госьбе, и пьяной не была. Анисько-о... Голубанюшка-то стоит на фотке и брови насупил, ишь насторожился, как жандарм. Ну поди-поди, Аниська, хватит там возиться, подавай стакашки.

Анисья принесла картошки отварной да ладку жареных наваг, миску студня, хлеба нарезала, не скупясь, занесла фырчащий самовар. Нюра налила на донышко водки, выплеснула в застолье, что-то бормоча оперханными от мороза губами, потом наполнила стакашки вровень с бортиком, в прогиб, без пролива не поднести ко рту. Так и несла дрожащей рукой, расплескивая по столешне, и разом вылила в себя, как заправский питух, и не сморгнула, не скуксилась, только протяжно приложилась к залатанному рукаву.

— Скус-на, зараза... — Крохотная слезинка вылилась из тусклого глаза и так осталась висеть на рыжеватой ресничке. Анисья пила мелкими глотками, поджимая губы и удивленно вглядываясь в стакашек.

— Каково наваги-то взяла? — спросила Нюра.

— Да много тоже не взяла, с такой семьей разве чего уловишь? Дак мы за что выпили, баба Нюра? — вдруг спохватилась Анисья, придя в себя и сразу пламенея лицом.

— За Екимушку, за него. Годовщинка...

— Так и не нашли тогда.

— Где найдешь,— пряча глаза, глухо сказала Нюра и локтями прикрыла лицо. — Где найдешь,— повторила она, раскачивая куропачьей головой. — Ну давай, Аниська, лени-ко еще... Теперь за Него выпьем.

— За товарища Сталина?

— За Него,— согласно кивнула Нюра и, не открывая лица, куда-то под локоть протащила стакашек, выпила и опять закачала крупной головой, словно усмиряла в себе рвущееся на волю горе. — Ну вот и все,— вдруг сказала она и открыла бледное отечное лицо с порозовевшими глазами. — Ты ведь Кренева рода, ну да. Племянница Федьке Креню, который сожегся...

— Племянница...

— Вот-вот,— сказала Нюра, напрягаясь костистым телом и подаваясь вперед, словно получше стараясь выглядеть невестку. — Ах, что я, стара-старуха,— вдруг воскликнула высоко и пронзительно. — Сказано-завязано, записано — не затрешь. — Широкой ладонью обмахнула край стола, словно подавила в себе что-то отчаянное и злое.

Сзади дверь в горенку была полуоткрыта, и оттуда нет-нет да и показывалась Симка, строго зыркала глазищами на старуху, словно окрикивала: у-у, Баба Яга — и снова скрывалась за ободверной, а

Нюра жалостливо и туманно подсматривала за девкой, вроде бы умоляла простить ее в чем.

Вдруг не стерпела Симка, перебила гостью на слове: «Ма, иди-ко сюда, чего ли скажу тебе».

— А от тоже девка, поговорить с гостями не даст, господи,— заворчала Анисья, еще не в силах отойти от разговора, разгорелась вся, лицо пошло крапивными пятнами. — Леший тебе надо? — закричала на девку, но все же в горенку пошла. Через полуоткрытую дверь было слышно, как Симка выговаривала матери:

— Стыдно ведь, мама, Сталин умер, а к каждому слову бога приплетаешь...

— А тебе што?

— Да так...

— Если бога нету, церкви нашто открывать. Говорят, вон даже академия церковная существует. Чего ли, значит, есть?

— Выдумки все,— настаивала Симка.

— И откуда ты все только знаешь, дочка? После войны-то сколько открыли. Велят вспоминать...

— А кто велит, ну скажи, кто?

— Да отстань ты, привязка. Ты матери рот не затыкай, слышишь,— совсем не строжаясь, каким-то довольным голосом прикрикнула Анисья и вышла на кухню. — Про старое-то рассказываю дочке, дак не верит. Говорит, вру все.

Нюра отмолчалась, и доверие, протянувшееся совсем недавно между двумя бабьими душами, не то чтобы лопнуло внезапно, но как-то ослабело, чтобы когда-то вновь нежданно всплыть и натянуть сокрытые боли. Из бутылки старуха отлила в чайную чашку: «Это для Мартына, пусть причастится», а бутылку с одонками заткнула бумажной скруткой и поставила в пестерь. Потом неожиданно сказала деревянным, натянутым голосом:

— Аниська, ты отдай мне фотку с образами...

— Ты что, баба Нюра, там же Клавдеюшка мой.

— А ты отдай,— настаивала Питерка, тыкая кривым пальцем в коричневую деревянную рамку, та шаталась на крохотном гвоздике и готова была свалиться. — Ты отдай, может, молиться на нее хочу,— скрипуче засмеялась старуха, все так же не глядя в сторону невестки, брови круто сошлись к переносице и прикрыли выцветшие глаза.

— Н-не, чего хочешь другое, а это нет. Памятка ведь,— наотрез отказала Анисья.

Нюра в сердцах забурела лицом, отодвинула чашку от себя, расплескивая чай по столешне, и было совсем намерилась встать, но вдруг предложила, ошарашивая хозяйку и сбивая с толку ее простодушное сердце.

— Тогда продай, Аниська,— сказала Питерка, теребя засаленные лямки пестеря, потом отмахнула крышку и выметнула из берестяного нутра огненную лисью шкурку с дымчатой искрой по иглистому ворсу и скользящим махом руки накинула ее на край столешни. Лиса, словно бы живая, колыхнулась, и легкое пламя, вернее, отблеск сумеречного льдистого света прощально заструился по шкуре.

— Неуж нынче добыла? — удивленно спросила Анисья. Но Питерка молчала, обиженно склоня голову, и крупные вены на лбу вспухли кровью. — Ты уж старая ведь, баба Нюра, а все как девочка. Ну не пообидься, прошу тебя. Нам ли с тобой друг на друга обидеться?

— Так, может, я глупа? — в упор спросила Нюра. — Ты скажи, может, я глупа?

— Да нет, вроде ты ничего глупого не делаешь,— согласилась Анисья.

— Тогда ты из меня глупую не строй,— и, больше не спрашивая дозволения, Нюра потянулась и сдернула с гвоздика деревянную рамку. Анисья только махнула рукой, подумала: «У старых всегда винтик за винтик, когда ли я такой же буду».

— Лису-то забери обратно, денег за нее получишь...

— Симке на воротник. Не заметили, как и выросла. Уже меня Бабой Ягой кличет.

— Она скажет, уховертка. Не-не, баба Нюра, таких подарков нам не надо.

— Ну, Аниська, с тобой нельзя по-людски говорить. Все круть-верть. Я ли об вас не греюсь? А на эту зверину я все злюсь, такая пакость. — И Нюра оттолкнула лису от себя. Шкура неслышно свалилась на пол, Анисья торопливо нагнулась, потом набросила на одно плечо, ласкаясь щекою о скользкий рыжий мех.

— Это не та ли, баба Нюра, лиса-хитрованона, что у тебя росла?

— Тьфу, пакость, — сплюнула Питерка. — На прошлой неделе всех кур распотрошила, оставила меня без яичек. В дом-то захожу, нá тебе, побонще мамаево, один петух на воронце дрожит, да и тот без хвоста. Зараза такая, обвела старуху вокруг пальцев, все лисонькой, все лисонькой!

— Так она и есть лиса,— сказала Анисья, спешно убегая в запечье, чтобы не увидела старуха, как распирает ее смех: в темном закутке женщина долго откашливалась, словно бы в горле застряло что, и промокала фартуком слезу.

— Знаю, что не корова,— горячилась Нюра, играя порывисто бровями, и только застуженные жизнью глаза не оживали никак, в них уже непостоянно заселилась зима, и потому они были бесстрастны и тоскливы. —Думала, душа у нее, у собаки дикой. Не я ли ее с соски выходила, а она со мной чего утворила? Думала, поживет, дак спущу на волю. А зверь, он зверь и есть. Послушлива была, уж такая кисанька, только баловать начнет, я сразу котомку собираю и строжу: слушаться не будешь, дак насовсем уйду. Да нет, не нами сказано: что взято — еще не свое, а не свое, дак не удержишь, меж пальцей вытечет.

— Это у них порода такая, лисовая,— утешила Анисья, сливая в ведерко молоко. — Недаром говорят, лисой обовьется...

— Вот уж не терплю пакостливых. Касть такая. Нет хуже на свете пакостливых да завидных. Бабкиным курам позавидовала. В доме-то жила дак как своя. Ты прибери шкуру-то, не томи меня.

Еще вся дорога была впереди, и Нюра заторопилась. Теперь она спускалась по деревне чуть внаклонку, стараясь не качнуть ведерко с молоком. Настояла Аниська взять с собой, да, по правде говоря, Нюра не особенно и отказывалась: своей коровы не держит, сил нет на нее, а парного молочка в охотку попить.

Небо уже позеленело, и дальний лес, куда предстояло войти, был по-вечернему мрачен и окутан кисеей сумерек, выплывающих из суземов. Тени у изб загрубели и, казалось, жили отдельными черными существами на снегу, кое-где наледь окон затеплилась ранним светом, видно, керосином в тех домах жили богато. Деревня настаивалась тишиной, сонно смирела и становилась особенно домовитой и желанной.

Нюра скользила по улице, догоняя свою легкую, едва прояснившуюся тень, и Вазица теперь не казалась ей такой чужой и своенравной, как утром. Душа была согрета и ублажена недавним застольем, и старуха сейчас подробно вспоминала, что пила-ела да какие разговоры вела, и была особенно радая, что, одарив Симку лисой, хоть как-то услужила Анисье добром за постоянную приветливость. А ведь что может быть дороже совестливой и отзывчивой доброты?

Нюра прокатила мимо отцовского дома: и хотелось бы задержаться подле, перекинуться с родичами словом-другим, но пустой ныне стояла изба, сиротски чернели небольшие оконца, и крыльцо в две ступешки перемело снежным сугробом. Значит, племянница Юлия Парамоновна этой зимой не навестит свое поместье, а ему бы поддержка нужна: двор-то провалился, по-собачьи скалился, не диво, если завалит кого, ведь постоянно подле ребятишки толкутся, свою войну ведут. Ох, Юлька-Юлька, зря ты свое хозяйство зоришь, где-то на дальней местности головушку припшатила, да чужая-то сторона пуще неволи. Еще не знаешь, где до веку своего насидишься да пластом належишься.

Потом была школа, чуть дальше — интернат, напротив — сельсовет. «И поныне живут в бывших кулацких хоромах, — подумала Нюра, — хозяева-то давно погинули, а избам износу нет».

Еще ниже, подле самой реки накренился бывший дом свекра Осипа Усана: уж тоже худенек стал двор, седлом крыша прогнулась. Наверху теплился свет керосиновой лампы, там поместилась почта; боковушку в три окна занимал медпункт; в нижней половине расположилась заготпушнина, окна наглухо придавлены ставнями да окованы кузнечным железом; а зимнюю избу занимала последняя из живых Усанов, золовка Калиства. С войны вдовеет она, муж в обозе до Берлина дошел, а там порезали его конокрады уже после замирения. Сыновья тоже на чужой стороне легли в братских могилах — земля большая, всех приняла, и незаметно стало, а одна дочка в городе устроилась, тоже семья, ей не до мамки ныне, своими детьми живет, ими и дышит. И Калиства в будний ли день, в праздник ли сидит на облюбованном месте подле оконца в газетный листок и все чего-то высматривает на улице. Может, чудится вдове, что вот сейчас, охлопывая катанки и кренясь на плоховатую левую ногу, раздвинет запоры в ограде ее благоверный муженек Василист, лошадь нахраписто, почуяв жилье, вдернет в заулок розвальни, а в них в охапку с гармошкой врастяжку хмельно лежат ее парни-погодки...

Кто ее знает, что высматривает золовка Калиства в своем заулке, какие картины, одна чуднее другой, рисуются в переменчивом просвете окон, и Нюра, невольно заметив размытое сумерками лицо, даже затормозила лыжи, словно бы намерилась завернуть к вдовице, но потом вспомнила позднее время, и дальнюю дорогу, да свои семьдесят два года, потому отмахнулась от Калиствы и ее одиночества шубной рукавицей. «В другой раз как ли зайду, — решила Нюра, осторожно накатываясь на реку. — Ведь в двух домах зараз не гостят».

...Ой-ой, восемь девок было у свекра Осипа да три парня, а из живых осталась одна средняя, Калиства. Люди, как вода, текут, и не видно их. По ранешней-то глупости пела, бывало: «Умерла свекровушка, не болит головушка. Как бы свекра уморить, я бы знала, как прожить».

Осип-свекор век вина не пивал, а бывало, бутылку воды нальет, ходит по деревне да плачет. Его спрашивают: «Почто, Осип, ревешь?» — «А восемь девок дак».

Тоже остался сиротой, без отца, без матери трех лет, а повыше столешни поднялся, уже в работники ушел к ненцам в чум. Потом восемь лет в армии, а как вернулся, усы длинные, за уши закладывал, так и звали на деревне — Осип Усан. Не высокий он был мужик, но ядреный и зараженный на работу. Так и стоит он в Нюриной памяти: идет он по чищенице прокосом, а за поясом топор, где куст на пути, тут и ссекет его. Он уж земледел был, он ни на озера, ни в море, ни на реку, никуда. Такой уж был земледел. Работал — и лошадь сменная была. Кобыла устанет, мерина в соху запряжет. Три избы срубил сам: одна в Вазице, другую сыну отдал, где ныне век свой коротает Нюра, а третью еще за десять верст оттуда поставил, правда, та изба под старость была накатана, и не успел старик толком утеплить ее, так сам в бане жил, когда пожоги под пашню делал. А в тридцатом-то году уже перевалило Осипу Усану за восемьдесят, в колхоз вошел, и больше его никто не мог за день вспахать. В газете писали, портрет был рисованный, и назвали там Осипа «красным пахарем».

Но в колхозе попервости не было настоящего хозяина, каждый сам по себе тянул да кто во что горазд, то и вытворял. А был председателем татарин из Казани: грамоты не знал вовсе, даже считать не умел, так деньги переводил на трешки, чтобы ловчее было итожить. Осипу такая бестолковщина не по душе стала, и однажды он отказал председателю, не дал саней и водовозной бочки. Тот стал на старика держать злой умысел и определил его в кулаки. Тогда уже Осип один с женой в избе оставался,

дети каждый своей семьей жили, так дочерям-сыновьям запретили к отцу в дом заходить. Ваня Сосок, тогдашний милиционер, сам сторожил. И, бывало, Нюра напечет шанег, колобов житних да, пока горячие, накладет в малицу, да опоясается потуже, чтобы не выпали, и понесет в деревню тайком. Так через навозное окно украдкой свекрови колобы подавала, чтобы Ваня Сосок не уличил. А как повезли Осипа Усана лес валить, пришел он к снохе на заимку и заплакал, и пока за поля провожала его Нюра, все ревел голосом. Но не успела спровадить старика, как уже встречать надо: вернули Осипа из леса да еще и посмеялись, что у вас, в Вазице, постарше мужиков не нашлось?..

А свекровь уж после умерла. Ладони сложила лодочкой, дует, словно холодно ей. Нюра и спрашивает: «Мама, что с тобой?»

«Пойду скорей. Пойду скорей».

Потом и говорит вдруг: «Нюрку-то жалко, нескладна у нее жизнь». А уж и не признает невестку.

«Мама, дак ведь тут я».

«Нюрку-то жалко, сиротея она».

Как раз баню топили, сходила Нюра проведать, вернулась, а свекровь уже умерла.

«...Осподи,— подумала Нюра, подслеповато всматриваясь под ноги,— жили как не были. Куда-то все девается, куда-то все уходит».

— Ой, Нюрка, Нюрка, киснешь ты *пошто*,— сказала Питерка вслух. — Раз киснешь, видать, худовата твоя вата, не годится на пальто. Не-не, я еще слава богу, мне бы только из сил не выбиться. Я-то еще завидно живу.

Нюра поднялась на противный берег реки. Кунды, подбитые лосиными камусами, несли хорошо, не поддавали назад. Рядом лежала сенная дорога, она так и струилась на виду у моря и отворачивала в сторону невдали от Нюриного зимовища. В молодые годы, когда Питерка побаивалась суземов, она бегала этим путем, где каждый случайный человек виден издалека и к нему можно было успеть привыкнуть настороженной душой.

Еще как переходить в новую избу, которую срубил свекор Осип Усан у черта на куличках на новых чищеницах, приснилось Лешке, Нюриному мужу, что-то суеверное. Будто икона божьей Казанской матери и говорит ему из красного угла: «Не позабудь меня, возьми с собой, иначе житье не падется». Наутро Лешка и рассказал сон, и с собою эту икону увезли. Но только счастье не заселилось в новой избе, стороной миновало, той же зимой окаянно, не по-человечьи помер Лешка. Теперь-то для Нюры все это как во сне, уж более полувека прокатилось с того дня. А первое время Питерка и спать не могла в проклятой избе, ушла к брату и неделю там горевала. Пусть плох муженек, да свой, незаймованный, мужскую работу сам вел, со стороны людей не надо было звать.

Но, правда, до питья жадный был человек, как отец Осип — до работы, так сын его — до хмельного. Бывало-то поровенки скажут: «Где гриб вырос, там и погинет. А замуж выходить хоть за батожок, да на свой бережок». Вот и выскочила за пьяницу, можно сказать, дня счастливо не жила.

Лешка и сам толком не пожил, и ей пожить не дал, не дал ведь, варнак, пожить, и Казанская матерь божья ничего пособить не могла. В гостях было напился, налился винищем, глаза уж больше не видят, да из-за стола в сенцы выполз, такая уж была мода у человека: ослепнет с хмельного, опухнет весь, а потом прячется, ползет подале с глаз чужих долой, чтобы отоспаться, в себя прийти. Пели-пили, да сколько можно, на ночь глядя и собираться стали по домам, не век в гостях быть: сидят-сидят, да и ходят. Тут и мужик вспомнился: лежит, голубеюшко, в сенях, а морозина калит, спасу нет, а ему хоть бы какой черт в бок кольнул, лежит-полеживает. Позлилась, а душа не взыграла. Ой бы ей тогда встрепенуться, а она его в бок тычет, чтобы пробудить, да выпевает: «Сколь ты не боров окаянный, опять нализался, тащи его на горбу, и почто на меня этака морока навязалась».

А тетя Дуня: «Ты, Нюра, останься, да ты, Нюра, останься, куда вы на ночь глядя попретесь, хороший хозяин собаку на двор не выгонит».

Но знать, судьба была, судьба. Зло такое взяло, году не живут, а мужик вон какие коленца выкидывает. Закатила Лешку на чунку да веревками примотала, а гости пьяновато расхохатывают: «Ну, Лешка, сегодня ты досыта винца напился».

Посмеялись и обратно в избу, в тепло, а ей везти: потащила мужика на саночках, тянет да приговаривает, честит молодую голову: «Вот свергну с чунки да начну слегой по бачинам охаживать, больно хорошо тогда будет». А Лешка молчит-помалкивает. Притянула его к избе: «Ну, вставай, доколе барином лежать, ему стыд пошто-то и глаза не выест». Но Лешка колодой лежит, рукой-ногой не дрогнет.

Ой, как всполошилось тогда сердчишко, так больно ударилось в грудях, упала Нюра в снег, кулем повалилась, заголосила на весь зимний лес: «Лешенька, да не помер ли ты, голубеюшко?» А уж помер он, как не помер, ежели сосулькой замерз...

Не раз за жизнь вспоминалась та ночь, не раз, и ныне вспыхнула, до самой малой подробности высветлилась, но не обожгла горем и страхом душу, уже поминки эти не были пронизаны заполошной болью, отворяющей по обыкновению бесконечные слезы. С какой-то тупой холодностью родились видения, совсем чужие, будто с кем другим все и случилось, и не дрогнуло, не качнулось старое сердце. Пристально вгляделась Нюра в себя, словно в притворе дверей подкараулила свое прошлое, но различила лишь бесплотную тень мужа, лишь напоминание, что это он, а не другой, и не узнала ни глаз его, ни губ, ни подробностей тела, и только вспомнились зряшные мелочи: вот саночки были без двух передних копыльев, обросли только наледью, видно, у тетки Дуни воду из проруби на них в ушате возили; потом веревка узловатая вспомнилась, едва развязала ее, все ногти обломала... Но отчего, подскажите, люди добрые, отчего забылось самое близ-

кое: мужнее лицо пропало, его руки, тело, вроде бы и не обнимала, не ласкала в первые, полные, желанного узнавания ночи, вот и походка забылась, и привычки, и только застряло в Нюриной памяти раздражающим узелком, что уж больно много вина употреблял ее муж Лешка Губан.

...Перед тем как зайти в лес, Нюра еще раз оглянулась назад и на месте моря, что начиналось сразу за Вазицей, увидела лишь зыбкое непроницаемое марево, которое слегка искрило и вроде бы жило, густо покачиваясь: знать, был прилив, прибылая морская вода взломала припай и, корежа льды, ставила их торчком, гнала на берег и тут же неряшливо замораживала их. Последний дневной свет скользил по остывающим ребрам ропаков, и потому чудилось, что море сверкает и дышит. В полной тишине еще слышался мерный шорох наступающей воды, порой льдины стеклянно лопались, и этот звук висел в воздухе прозрачно и долго.

Куда забрались люди? Куда? Какой злой рок приманил сюда и, словно бы окружив красными флажками засады, не истребил их, а оставил умирать, но они вот выжили, а привыкнув, уже полюбили все, что их окружало, не ропща на судьбу, порою радуясь, что именно им достались такие пространства и такая большая воля. Как безрассуден и сколь уживчив человек, пускающий семя порой на самой бесплодной пашне! Но перед разлившимся половодьем глухой черноты, куда должна была вступить Нюра Питерка, россыпь слабых керосиновых огоньков позади нее становилась с каждым шагом все радостней и желанней.

Нюра взглянула на небо, привычно приметила время — было где-то около четырех. От тайги несло навстречу стылостью, словно из давно не топленной избы. Лес встретил настороженно, молчаливо, и ни одна птица не снялась с пониклой ветви, и только где-то далеко, в сквозняке замерзшего ольховника, пронзительно скрипнуло остывающее к ночи дерево. Нюра пробежала вырубки, стараясь не зацепить ведерком за случайный сук, потом пересекла болотце, поднялась на взгорок, и еловый нетронутый бор, уходящий черными куполами в самое небо, подхватил ее и поглотил сразу. Отсюда до хутора было рукой подать, версты две, более никак не наберется, лыжня наторена за долгую зиму, даже снегопады не смогли захоронить ее совсем, и кунды сами, будто по своей воле, податливо скользили по извилинам подмерзшего следа. Нюра нынче не боялась тайги, как бывало в молодости, и шла лесом, словно та хозяйка, что привычно и легко бродит в потемках по вечернему подворью, порой по скорой нужде ленясь запалить фонарь.

«...Припозднилась вот. Котофеюшко где-то там. Одинокий человек и животинке рад,— отрешенно думала Нюра вслух, по старой привычке от постоянной одинокости своей шевеля губами. — Небось вопит Василейко, на всю избу рев поднял. Осподи, был бы сын в живых, разве бы пришлось по тайболе лешевицей бродить? Слава богу, Катька когда вспоминает, то письмо кинет, сто рублей подарком пошлет. Хоть бы девке счастье палось, сейчас вроде бы мир меж има идет, а то еще два года назад наотрез, говорит, не хочу видеть своего мужика Степку Ардеева, не хочу с ним в чуме жить, прибери меня, мамушка, к себе. Вот тоже, чужая девка-лопата, самоядь, а к Нюре только «мамушка и мамушка», больше иного слова нету».

Семнадцать лет назад приютила Нюра Питерка трехлетнюю сиротину Катьку. Отец у нее, ненец-единоличник Прошка Явтысый, за жизнь свою восемь жен имел, а молодая Марина уже девятой была по счету. Прошка ревнив, в чуме прорех нарезал: куда идет жена, в дыры за ней подглядывает. А сам характером темен, не угодить ему, хоть оленьей полостью расстелись, пади ему в ноги. Сколько-то пожили вместе, а однажды приревновал Прошка жену свою к пню еловому, хотел было зарубить, да нечаянно качнулся и обвалился на раскаленную плитку: схватил Марину за смоляную жесткую косу и давай ее головой о свое колено лупить, потом выволок на волю и ногами затоптал ее в снег. Так тут и бросил ее совсем, ушел вместе с оленями из вазицких боров куда-то за Урал. Марина похворала, сколько могла, побродила еще по земле, а потом слегла совсем и больше не встала: с того раза до последнего часа смертно гудела у нее голова, и чудилось бабе, что за чумом кто-то хохочет и пьяные песни поет. Забегается Марина вокруг чума до горячки, запалится вся, потом в снег падет и лежит, пока в себя не придет. Так и не оправилась Марина, умерла под весну, а девку ее трехлетнюю приютила у себя Нюра Питерка. Первое время еще подумывала, что злодей Прошка Явтысый хватится своей дочери, вернется и заберет, а потом так прижалела девку, что оставила у себя. Выросла Катька, как своя дочь была, а восемнадцать стало, посватался Степка Ардеев и увез к себе в чум на Канин.

Однажды, через полгода наверное, приезжают вдруг, в малицах вваливаются в избу. Нюра — ой да ой, скорее самовар наставлять, чай пить садит, а Катька за стол не присаживается, сидит в сторонке на лавке, ни слова не молвит и глаз не подымает. Нюра ей: «Катя, скинывайся давай, хватит монничать, придвигайся к столу». А Катька горбится и глаз не подымет.

— Ты чего, Катька, не заболело чего? Сидишь, голову склонила,— все не отступается Нюра. И мужик ее, Степка Ардеев, тоже обидно молчит, а потом и говорит:

— Нюра Питерка, твой Катька со мной спать не хотит.

— Ты что, Катька, срамница такая, сдурела совсем? Я ли тебе не мати была, так пошто меня позоришь? Я ведь тебя силком не отдавала, сама пожелала. А вышла, так и жить нать,— сказала Нюра, но видит уже, что приемную дочь никакое слово неймет, крепится девка, чтобы не зареветь, губу накрепко закусила.

Отвела тогда Степку в сторону.

— Чего не поделили. Небось бил?

Тот глаза ночные обидчиво в сторону спрятал.

— Забижал небось?

— Не-не, пальцей не задел, а она пошто...

— Поезжай-ко к Марье Задориной, горбатенькой, привези сюда. Скажи, я просила шибко.

Слетал на оленях Степка, привез Марью Задорину. Подала ей Нюра острый нож да вина немного в чашке, провела в запечье и занавеску задернула. Чего-то в потемках плевала-шептала Марья, вдруг зовет: «Катя, поди сюда, касатушка». Прошла Катька в запечье, вино нашептанное выпила. Марья ей из кадки еще холодной воды зачерпнула, и девка из того ковша пригубила. Потом явилась на середину избы, склонилась поясно и говорит вдруг ясным голосом: «Степа, любимый, поедем домой».

«...А тепере живут, как гусли,— думала Нюра, довольно вспоминая приемную дочь.— И ко мне-то все — мама да мама, уж худого слова не обронит. И Степка-то для нее шелковый, готов ноги мыть бабе да ту воду пить. Это уж промеж ненцев редкость, на удивленье. Вот и сына принесла Катька, а этой осенью и другого: ну-ко, на-ко, приехала к Нюре рожать да на Нюриной кровати и принесла парничка. «Счастливая,— говорит,— я теперь, мама».

Вот как Марья Задорина девку мою поставила. А тепере и самой в живых нет, уж полгода, как умерла, и все плевки с собой в землю унесла».

Показалась просторная чищеница с одинокой креневой елью посередке, а на дальней опушке, где опадала бережина в чуть приметный овражек лесной реки, подобно неряшливо сметанным зародам, сутулилось Нюрино житье: изба, амбар, банька на задах.

Глухо, как сквозь вату, забасила собака: Нюра ее держала в сенях, чтобы ненароком не заели волки. Егарма была тонконогая вихлястая сука с развесистыми ушами, какая-то странная помесь лайки с уродливой дворнягой, но исключительно лаяла она белку и боровую птицу. Собака, смиряя радостную упругую дрожь, ткнулась в подол хозяйкиной малицы, скользнула короткошерстным боком, едва различимая в немощном пятне света, просочившемся в проем двери.

— Ну, поди прочь, Егарма,— ласково отпихнула коленом суку. Нюра держала собаку в строгости, не поваживала водиться у стола и выпрашивать куски и только в редкие запальные морозы запускала на ночь к порогу. Но, услышав в голосе хозяйки теплое участие, Егарма тонко подала голос, напоминая, что оголодала уже и не прочь бы перед сном согреть нутро едой. К распахнутой двери в избу сука не кинулась, почуяв обжитое тепло, а понарошке словно бы отвернулась, просунув в проем уличных ворот острую морду и принюхиваясь к завечеревшей тайге, полной смутных шорохов и запахов. Шерсть на загривке тревожно вздыбилась, когда что-то нервное и злое почувствовала Егарма в потоке морозного воздуха, пронизанного только ей слышными запахами; и тогда она завыла вдруг пугающе, навзлет, радуясь тайно всем существом, что хозяйка наконец вернулась, а тесный мрак сеней уютен и знаком.

Нюра запалила на засторонке печи сальничек, крохотную пиликалку, и, не раздеваясь сразу, еще посидела на лавке, как бы заново оглядывая избу и привыкая к ней: но все было обжито и неизменно тут, как десять, тридцать, пятьдесят лет назад. Та же битая из глины осадистая печь, густо расписанная пышными цветами; около дощатая загородка, на которой тускло проступали желто-красные звериные лики; гладко тесанные топором стены, крашенные охрой; связки куропачьих крыльев над дверями; а еще выше пучки подсохших вересовых веток, источающих слабый лесовой запах, изводящий из избы всякую заразу; в переднем простенке длинный стол, в левом углу шкаф-поставец с посудой и наблюдник с медными тазами и подсвечниками; в красном углу подслеповато дрожала лампадка, и в скупом ее свете едва проступал стертый лик Казанской божьей матери; вдоль боковой стены стояла деревянная своедельная кровать, накрытая пестрым одеялом. По неряшливой пыльности углов и застарелому запаху избы чувствовалось, что здесь живет старая одинокая женщина, уставшая от долгой жизни и работы, и которой уже не хочется что-то делать, крутиться, чтобы как-то еще скрасить житье.

Поняв, что в избе все неизменно, и поникнув душой, Нюра вдруг сразу устала: захотелось упасть на кровать и забыться, но и этого нельзя было сделать ей, ведь оставались свои, бабьи заботы, и потому, превозмогая вялость, старуха забродила по избе путано и бестолково. Головою Нюра была повыше воронца, и оттого приходилось нагибаться, когда слонялась из переднего угла к порогу, чтобы забросить на печь малицу и пудовые катанки. Тут с палатей спрыгнул кот, и Нюра, занятая своими мыслями, неожиданно вздрогнула.

— А-а, штоб тебя понеси леший,— досадливо прикрикнула она, ведерко с молоком поставила на шкапик, рядом — сверток с двумя солеными рыбинами, кисловатый дух которых скоро пробился сквозь оберточную бумагу, на столешню выкатила каравай и к ним прислонила деревянную рамочку с фотографией. Но зрение было уже немолодое, свет от пиликалки едва струился с засторонка печи, и Нюра сняла сальницу на стол. Потом обтерла ладони об ватные брюки и кривым пальцем обмахнула и суровые брови Семейки, и тяжелые скулы, и твердые, испуганно сжатые губы.

— Ишь, фартовый какой, любушко мой, голубанюшка. Небось и вовсе забыл Нюру? Как не забыть-то, осподи, век прожит,— шептала старуха, подслеповато вглядываясь в выцветшее, едва заметное лицо. Тут котофей вспрыгнул на шкапик, почуяв рыбный запах, жадно вскричал и, цепляясь за ведерко, потянулся когтистой лапой к свертку.

— Кыш, я тебя,— отвлеклась Нюра от котовьей возни, но то ли встать уж сил не было, то ли не разглядела, что вытворяет животина, только не поспешила к шкапику.— У, голодай, дай бабке прийти в себя. Сейчас молочка лену, благодари Анисью, что не забывает она бабу Нюру.

Ободренный мерным, покойным голосом, кот рва-

нул бумагу посильней и, опьянившись рыбьим духом, окатываясь лапами по нахолодевшей посудине, вдруг столкнул ее со шкапика. Словно бы взорвалось что, такой внезапно раздался грохот, кот пулей метнулся к порогу, отчаянно тыкаясь мордой в дверь, потом живо убрался на печь, оттуда зажег зеленые глазищи.

— Ах ты, зараза, ах ты, кость, брюшина ненаедная,— вскричала Нюра, бросилась поднимать ведерко — так мечталось о молоке, просто душа горела — да только какая польза от ее запоздалых стараний, если молоко синевато расплылось по полу, мешаясь с мусором, и с шорохом побежало в щель под печку. Еще раз всплеснула Нюра руками, охлопывая бедра, кинулась к печи, чтобы хорошенько отучить котищу, а в гневе забыла приклонить голову, и тут глухо припечаталась лбом о воронец, както скользом зацепилась, потом ошарашенно опустилась на кровать, очумело поводя глазами.

— Сирота я, сиротея... И никто меня не приголубит, не прижа-лет,— причитала Нюра, ощупывая на лбу быстро созревшую шишку. — Вот и сон в руку, вот и корова в рыжих копейках. Кость ночная, три литры молока ведь опружил, теперь сиди голодом, крохи ситной не дам, не то другого жорева. Ой, не зря во снах плат с головы потеряла, вон какой волдырь нажила!

Совсем обессилев, поднялась Нюра с кровати, прибрала на полу, собаке кинула в сенцы кусок зайчатины, а сама уж крошки хлебной в рот не взяла, так голодной и пришибленной свалилась в кровать, чуя душой и телом, как все хвори и слабости разом накатываются на нее.

4

Третью ночь подряд видела Нюра один и тот же сон, и кончался он так до жути явственно, что, вспоминая его после, старуха поначалу мучилась и холодела до морозных мурашек. А снилось Нюре что-то греховное до бесстыдства, до сладостного томления, до откровенного изнывающего стона, снилось давнее, полузабытое, мимолетно испытанное в коротком замужестве, а может, и вовсе не испытанное, разве все упомнишь, но о чем втайне желала и мечтала в те годы, когда была наполнена здоровьем ее плоть. И сейчас, боже ты мой, восстав из ночи, Питерка мучилась и страдала, вспоминая в подробностях дьявольские сны и не зная, бывало ли когда это в яви или нынче блазнило лишь...

Где-то средь ночи вдруг снилось Нюре, будто она еще в той наивно-любопытной поре, когда девки уже вкрутую дролятся с парнями, позволяя на вечерке сидеть ухажеру на их коленях, жадно проверять, все ли у хваленки на месте, и от этих скорых украдчивых объятий вместе сладко млеть. Вот будто Нюра как раз в той поре, и у нее с ухажером сговор, будто ее замуж за нелюбимого отдают, и хочет девка уйти из дома «самоходкой», без родительского благословения, и обвенчаться в мегорской церкви у тамошнего попа. И будто уж лопотина кое-какая спешно собрана в узел и на повети припрятана, и лежит Нюрка в постели, едва притормаживая сердце, а подле сестра Клавка пышет теплом, и Нюрка от сестры все подалее, все подалее отваливается, чтобы только не слышать ее назревших грудей и горячих круглых коленок. Давно ли будто жались — водой не разлить, обе на выданье, разом поспели, секретов за вечер не высказать, а нынче вот, только за час жданки, вдруг неприятной стала Клавка, вся неприятной — от рыжей, распущенной по изголовью волосни до крутых бесцветных ресниц и литого плеча, выбившегося из-под сорочки. Отворит Нюра глаза, свет в оконных стеколках збится, дрожит, чуть разбавленный сиянием восходящей зари; скосит девка лицо набок, и чудится, что ресницы у Клавки шмыг-шмыг: ведь не спит, ведьма, и душою настороже.

А ждать невтерпеж более, до первых бы петухов скрыться надо, хоть бы за деревенские поля перебежать до лесной тропы, а там уж сам черт не угонит. И, не сводя сторожкого взгляда с сестреницы, Нюрка встала из кровати и попятилась за порог, боясь скрипнуть невзначай половицей, потом так же воровски спустилась из горенки, страшась отцовского окрика. Пробежала поветь, дверь будто сама отпахнулась бесшумно: ловит-ловит Нюрка ускользающую щеколду, чтобы затворить за собой, и не может поймать чугунное с насечкой кольцо, словно бы вот оно, и нет его, потому торопливо отмахнулась, но сердце вздрогнуло. Ой, зачем отмахнулась, не надо бы так, домовой-хозяинушко тебе не простит. Но и молодец-то жмется на задах избы, но почему-то в броднях до рассох, словно в море собрался, на кудрявом пшеничном волосе фуражечка набекрень, и лаковый козырек солнечно отблескивает, и потому лица у миленка совсем не видать. Вроде бы и Семейко по обличью, по всем статьям, а вроде бы опять же и не он. Спешит девка, а за спиной из полых ночных ворот словно кто-то нашептывает: «Андели-андели, Нюрка-то Питеркина самоходкой пошла. Не падет девке счастье, грех-то... грех-то ой».

«Ты почему тут? — вдруг спросила Нюрка, испугавшись во сне, что у нее все сдвинулось в памяти. — Я ведь тебя куда после узнаю, уж когда вдоветь буду. Ты пошто меня крадешь-то?»

И на душе стало так тяжко, не вздохнуть. Ой, что-то не то, ой, что-то не то.

«Ты что, Нюра, напутала все. Не с той ноги встала, не с той ноги встала»,— пришептывает парень, а сам влечет куда-то за руку. Вглядывается Нюрка в своего дружка, а лица не признать, свет глаза застит.

«А может, так и было. Только Семеюшку и любила. С кем же еще бежать? Только бы не застигли, а там все хорошо. И всё слава богу»,— уговаривала себя Нюра, а дышать отчего-то столь тяжело, словно жернов на грудь закатили. И вдруг опахнуло хлебным настоем, пробежали сквозь богатые

креневские пашни, выскочили на замежек, а вот и он, березовый лесок, такой сугревушка, аж парит весь и словно дымится под ранним солнцем. Птаха какая-то зачивкала. «Погоди, дай вздохнуть, запышкалась боле. Ты постой, оглянись на свою голубеюшку. Што-то вроде не такой сёдни». — Взмолилась и упала на замежек, в отсыревшую от утренней росы траву, словно утонула в ней, и небо, еще заголубевшее, отмахнулось куда-то ввысь и круто прогнулось. «Осподи, как благословенно. Ну иди, ну поди ко мне». А дружок уж рядом вроде, хотя отчего-то и не видать его, только шепчет беспамятно: «Успеем еще, успеем»,— но сам дрожмя дрожит, а тут и с Нюрой случилось хмельное круженне, стало отчаянно весело: только слушала парня и податливо прогибалась вся навстречу, когда он нетерпеливо полез ей за пазуху. И девка засмеялась неожиданно, уже ослабевшая и готовая к любви: «Ой, чекотно, ой, чекотно».

И тут, вся пронизанная мгновенной болью, Нюра дернулась и проснулась. «Осподи, что это со мной?» Она ошалело, но, не в силах прийти в себя, приподнялась на локте, всмотрелась в темь избы до цветных кругов в глазах и еще долго так полулежала, привыкая к ночи и трезвея от сна, пока не отерпла рука. «Уж которую ночь блазнит»,— подумала Нюра, заново припоминая сон: болела грудь, и старуха, отвлекаясь на эту щемящую боль, никак не могла вспомнить конец сна и оттого мучилась еще больше. «Согрешила ли я, согрешила ли?» — спрашивала себя Нюра, напрягая остывавшую память и вспоминая все снова, но навязчивый сон, как назло, каждый раз кончался внезапным возбужденным смехом и мгновенной пронзительной болью. «Доглядеть бы надо, доглядеть».

Посреди темноты Нюра лежала, словно в могиле, и даже шорохи и звуки, которые окружали ее, были постоянные, из ночи в ночь, и не заставляли отвлекаться. Ширя глаза, Нюра вглядывалась в настуженный избяной мрак, пропахший кислыми шкурами и старой заношенной одеждой, и вспоминала свое девичество, потом короткое замужество. Пришел в память Филипп, длинный такой, носатый парень, с ним Нюра раза два целовалась на семужьей тоне, а на вечерках пела: «Не пойду я за Филиппа, от Филиппа буду бита». Хотя за Филькой-то побежала бы в угон, но жил парень в избе, лабазом крытой, да с земляным полом, едва себя да мать кормил. «Ему ли нищету плодить?» — решил Иван Петенбург и отдал дочь за Леху Губана, и фамилию даже менять не пришлось: половина деревни Селиверстовых. На том девичество и кончилось. «Так было, так»,— вспоминала Нюра, перетряхивая свою жизнь, но душа, растревоженная греховным сном, противилась тусклой памяти. Не ведала Нюра, что невдолге перед смертью она видела в горячих снах то, о чем мечталось в девью пору, но не хватило смелости ей тогда, кто знает, а может, и любви. И сейчас не могла старуха смириться со своей памятью: «Ой, Нюра, такое зазря не приснится. Такое только взаболь бывает».

И стала вдова примерять носатого Фильку к ночному видению, поставила его под фуражечку с лаковым козырьком, но вот грех-то, лицо парня не просочилось в памяти, и помнилось лишь что-то носатое, и вроде бы он волосом смоляной был, а этот с рыжа и в колечко кудёрки. Ой ты, боже мой, ой ты, боже мой! Кто же выкрал тогда? А кто-то ведь взаболь крал, раз приснится такое.

И сегодня словно на что решилась Нюра, потому не встала, как обычно, посреди ночи, не засветила пиликалку, чтобы потом одиноко горбиться на лавке, а натянула повыше к подбородку одеяло и сказала себе вслух: «Все так и было дак. Только запамятовала я». Старуха покойно закрыла глаза и уже до рассвета спала блаженно, пока собака не зацапалась в дверь.

Обычно долго разламывалась, приходила Нюра в себя, с кряхтением пролезая в полдюжину просторных юбок, защипывала каждую на большую костяную пуговицу, похожую на леденец, потом садилась на лавку и, тупо раскачиваясь, чесала настуженную голову. А нынче снялась с кровати, будто молодая, не глядя, нашла ногами меховые пимы и в одной посконной рубахе, не боясь стужи, сразу кинулась во двор за полешками и растопила печь, раскопав на загнетке в золе полуживой уголек.

Сон еще крохотно теплился в Нюриной душе, освещая очередное утро, нелепые подробности как-то притухли, а осталась лишь спокойная радость и терпеливое ожидание перемен, которые должны были вот-вот постучаться. Потом, обмахнув ладонью и подышав на рамку, Нюра повесила ее в передний простенок, вгляделась в тусклый снимок отдохнувшими глазами: «Письмо-то написала, да неуж не ответит? Вроде бы свои мы тепере, такое тут положение. Небось уж весточку получил, как не получить-то, нынче, быват, не старое время, почта на живых ногах ходит».

Потом, словно застыдившись чего, а вернее, озябнув вдруг плоско усохшими грудями, Нюра вздрогнула и стала торопливо кутать себя в ватные брюки с засаленными коленями и меховую телогрею, густо пахнущую зверем, уже решив в душе, что нынче надобно путик лесовой навестить. Куропоть уж должон быть, как не должон, только бы лиса-зараза не погрызла, бога вот не боится, повадилась по сильям шастать и не столько птицы сожрет, сколько выпотрошит, перья натрясет. Надо будет на нее кулемку насторожить, может, и увязнет, падина.

Потерянно ходила Нюра по избе, куда-то неслышно пропал утренний задор, мослы рук устало опали вдоль тела, и тяжелые кисти набрякли, чугунно посинели. По привычке только обряжалась старая: сунула в печь чугунок с картошкой, отварила пикшу, одно мясистое звено отделила в миску, залила подсолнечным маслом да из самовара добавила водички, потом сбоку примостилась и, подперев голову рукой, задумчиво и степенно, с особой крестьянской благоговейностью вымакала рыбу и каждую кость обсосала, коротким движением отбрасывая ее к запечку, где жадно вился котофей. Еще давно ли

там и лиса крутилась, хватала кота за жирный загривок и лениво заваливалась на спину, вся раскладываясь на полу и вздрагивая сивым животом. Пришлось прибить заразу; касть такая, оставила бабу Нюру без яичек. Не свое — не удержишь, сквозь пальцы протечет и не уловишь. Жить не хотела, дак Симке на воротник, Симка выносит, хоть Бабу Ягу когда вспомнит нито...

Порой Нюра, отвлекаясь от беспорядочных вольных мыслей, взглядывала на фотографию в переднем простенке. В избе еще было по-зимнему сумрачно, и углы прятались в подвижном мраке, и оттого лица в коричневой рамке просматривались едва. «Небось уж получил писемушко,— подумала Нюра, глазея на гордоватое лицо Семейки. — Читает, поди, до дыр зачитал, а может, и в какое другое место снес. Скажет, дура какая-то написала, нечего делать дак. Ну и пусть, ну и пусть, ежели совести нету, поймет — дак поймет, а не поймет, дак не его ума дело, значит... Ой, спасибо сыночку Екимушке, научил писать мамку, палки на бумаге городить. Все, бывало, присказку скажет: бабы не рабы, рабы не бабы. Пока не напишешь, не отстану. И не отстанет, ведь такой уж был настырный да памятливый, весь в наш род».

Тут коротко и больно толкнуло сердце, словно бы стало оно поперек груди, и сразу туманно ожил навязчивый сон, и Нюра, опираясь на столешню, снова потянулась всем телом к снимку, разглядывая Семейкино лицо. Но оно было неизменно самодовольным, с грозными бровями и твердыми припухлыми губами. «Наверное, от вина,—подумала вдруг,— на берег-то сошли с ледокола, дак, думаешь, мало вина выжорали, такие жорева на вино-то». Вспомнила, как прощались с Семейкой: на германскую походил, так в сенях придавил, аж в грудях ойкнуло. Но пошто-то лицо не показалось во сне, вроде бы и Семейко был, а вроде бы и не он. «Еще чикнусь на старости лет. Охолонуться надо, охолонуться...»

Уже с испугом оглядела избу, подумала, что пора в лес собираться, но еще прошла в красный угол и достала за божницей закапанный свечкой листок бумаги, косо исписанный карандашом. Еще в тридцать втором по какому-то делу, то ли огневого припаса просила достать, иль в охотничьей снасти была нужда, но только писала Нюра в Долгую Щелью, и тогда от Семейки Нечаева ответ не задержался:

«Здравствуйте вы наша дорогая Анна Ивановна,— по слогам читала Нюра, поднеся письмо к самому сальничку и близоруко щурясь. Порой она вздыхала, и жидкое пламя светильника пугливо завивалось, качая на потолке густую тень. — Шлем мы и вся наша семья вкупе понискому поклону и желаем тебе всего хорошего а главное в жизни здоровия и счастия. Теперь спешим сообщить письмо ваше получили но извини что так долго не писал я все время находился в транспорте помесяцу дома не был вот почему и не писал. Пишу о своей жизьни. Живем не совсем, корову зимой продал под мясо и не купил, а внастоящее время коровы порато дороги да и продажных нету итак живу без коровы продукции ни какой нет, живем на капусты и на репы. Жить не важно хлеба из лавки недавают на своей мякине живем...»

«Ну-ну, все так и было. А уж ничего не спросил, каково мне, сиротее»,— кивала простоволосой головой Нюра, смутно и горько сожалея, что ничего нового не вычитала в давнем письме. Егарма цапала дверь, просительно взвизгивала, видно, желала еды и воли: в узкое смотровое оконце в полтора бревна, неровно закрытое волочильной доской, проникал пронзительный, как лезвие ножа, свет, он слепил и будоражил суку и заставлял нервно проситься в избу. От коротких собачьих всхлипов Нюра опомнилась, пришла в себя, в углу на лавке заметила вчерашнюю бутылку с остатками водки, заткнутую бумажной закруткой, горестно всплеснула руками, уже страшась своей забывчивости. «Осподи, Акимушку-то вчера не навестила, сыночка-то моего,— поясно склонилась перед божницей, потом торопливо засветила лампадку. — Осподи, иго твое — благо мое. Только не дай упасть, потерять разум, дай-ко мне дожить в чести. На тебя, отец родимый, вся надея. Лучше наголодаться и нахолодаться, чем глупой, беспамятной быть да людей смешить. Боженька, ты кроток и смирен сердцем, доброта твоя велика, и свет, воссиянный над тобою, греет нас, сирых и убогих. Так дай же благости и покоя душе моей, не поскупись...»

...А на воле уже стоял день-деньской, весь до нетерпимости в глазах синий и радостный. Легко потрескивали под ногами ступеньки, мартовский мороз сразу сбил дыхание. Неба словно не было, а из синей купели с тонким стеклянным звоном лились воздушные потоки: они ослепили Нюру и выдавили из глаз слезу. Влага на ресницах скоро зальдилась и покрылась куржаком. «Благословенно-то как»,— невольно подумала охотница.

Снег крупитчато разваливался под лыжами, с тихим шорохом осыпался на целине, вспыхивал и слепил, и потому Нюра почти затворила глаза, больше ощущая путь, чем видя его. Егарма сразу откинулась в сторону, прошила наискосок поляну, и уже откуда-то издалека, из елового суземья просочилось ее грубое лайканье. Охотница обошла свое подворье и возле черной закоптелой баньки с желтым куржаком над дверью выкатилась к ущелью речки. Берега круто сбегали вниз, отороченные сверху снежными коварными гребнями, и, чтобы не обвалиться вниз, Нюра не рискнула подъехать ближе, а потянулась вдоль речки Ежуги, повторяя ее скрытые извивы, на дальний мысок. Легкий низовой ветер толкал Нюру в спину и курил вокруг ног легкой снежной пылью, похожей на дым. Собака уже выметнулась перед нею и наметом пошла вверх по склону, широко разбрасывая кривые лапы.

Егарму Нюра случайно подобрала в деревне. Жмется сучонка у хлебной лавки, ждет, кто подаст, а сама урод уродом, в глазах слезы, уши лопухами, ноги кривые. Только и глянула раз всего Нюра на сучонку, и как-то вскользь пожалела в душе собаку, и подивилась ее страхолюдию, но, знать, что-то уча-

стливое скользнуло в бабьем лице, потому что сучонка потянулась мордой, жалостливо заморгала и до конца деревни не отставала от старухи — ну как тут было не приютить сиротину. А сучонка, Егарма эта, исключительно пошла на белку и на птицу, лучше требовать не надо, словно кто натаскивал ее. С первого подхода облает белку и птицу так повернет, так наладит, чтобы в грудь стрелять ей или в бок. И если улетит глухарь-подранок, уйдет Егарма следом в лес, по воздуху словно бы чуя его лет и след (такая верхочуйка), и разыщет ведь, куда падет птица, и обратно вернется к Нюре, начнет ластиться, у ног жаться и вилять хвостом, значит, просит хозяйку катиться следом и подобрать добычу.

Плоская бережина походила на столешню, застланную льняной скатертью. Ни одной заструги, где бы затаилась синяя тень, ни одной овражинки и пня, вкруг которого вырос бы сумет, так ровно была забита эта луговина искрящимся солнечным снегом, и только на краю ее, на срезе лесной чищеницы и речного провала, едва просматривался православный крест, так похожий снизу на тень распятого человека. (Прохожий кто нет-нет и спросит ненароком, дескать, кому память? «А вот сына потеряла, канул сынок-от во мраке лет, дак ему оветный крест воздвигла»,— кротко скажет Нюра, а больше того и слова от нее не добиться.) По глубокой снежной заводи собака проплыла, оставляя за собой вспоротую борозду, и остановилась возле безымянного креста, вывалив из пасти дымящийся язык. Сука понурила острую морду, и глаза ее наполнились мглистой сиротской печалью, словно бы Егарма понимала все, глубоко и верно переживая Нюрино горе.

А старуха потопталась вокруг креста, смахнула с верхней перекладины снежную кухту. Крест от времени светло позеленел и расслоился продольными трещинами, единственная корявая надпись «ИНЦИ» уже потеряла свою глубину и оплыла.

— Ну, здравствуй, сынок,— глухо сказала Питерка и пристально вгляделась в целинный снег, будто проникая взглядом сквозь него и даже дальше. Нюре вспомнился Акимко еще совсем малым; лобастый такой был, белоголовый, щекастый. Однажды дальнюю пожню чистили, пора бы и чаевать, послала Нюра сына за водой к ручью, а парень вскоре бежит и вопит: «Ой, мама, поди-ко сюда, тут котятки черненькие!» Нюра сразу спохватилась, знать, выдра с детьми пасется. Схватила ружье, поспешила к ручью. Так и есть: на угорышке выдра с детьми. Услыхала человека, в омут увела семью. Всплеснула Нюра руками, да поздно: «Ой ты, Акимушко, да это же не котятки, а выдра с выдриными ребятами. Уж коли не сумел подобрать себе на штаны да мамке на сарафан, дак уж не осуди». Столько потом поминали, смеху было, как на ум тот случай придет: «Мама, мама, там на ручье котятки черные».

«А может, и судьба то и была? Котятки черные...» — запоздало и суеверно подумала Нюра. Привычно отгребла от креста снег, получилось что-то вроде озерца с крутыми берегами, туда насыпала пшена глубокую пригоршню для мелкой лесной птицы, водку из бутылки выплеснула наотмашку, но посудину прибрала — в хозяйстве сгодится, сунула ее в лузан и, встав лицом к востоку, троекратно отбила поклон. «Котятки черные... Вон как повернулось все,— назойливо подумалось вновь. — Паньке Юрьевой на свадьбу тож собачку черную подарили. Я и говорю, осподи, не с ума ли посходили люди, где это видано, чтобы собаку на свадьбу давали, ведь век будут собачиться. По-моему и вышло. Три раза разбегались да сбегались, а ныне и вовсе через суд разошлись. А Кланьке Палагиной козла глиняного подарили, ума тоже нету. Все на раскорячку и вышло: она его в тюрьму через три года посадила да по новой замуж выскочила, наставила, значит, рога».

— И пошто бы тебе не жить, Акимушко? Чем не угодил миру? Сам-то уж сколькой год полеживаешь, прости господи, а меня сиротишь...

Егарма услышала собачьей душой долгую Нюрину кручину и тонко подвыла. Кровь нынче уже тихо струилась в Нюрином теле и грела плохо.

— Вот ты-то не живешь, а я пошто живу, век коптю? И вижу нынь плохо, зверя-то добывать совсем незамогла. Белки мало взяла и птицы по чернотропью не набродила. Плохо мне нынче, сынок, уж так плохо. — Нюра замолчала, поглубже натянула на знобящую голову оленью шапку-поморку. — Ну ты лежи, а я пошла дак,— добавила бесстрастно, и горе ничем не отпечаталось на каменно застывшем лице. Питерка еще раз обмахнула шубной рукавицей перекладину креста и, обогнув его стороной, неторопливо покатила через речку.

Охотница просквозила просторный березнячок, перевалила через кряж, обросший молодым зацветающим сосняком, и выкатилась на край безмерного болота.

Была Нюра раньше легкой на ногу бабой, светлоглазой и повелительной, лучшей в низовьях Вазицы, а то и по всему Поморью добытчицей. Еще три года назад, когда Катька, приемная дочь, жила подле, за сезон добыла Нюра восемьсот белок, ту зиму и все лето они жили сытно, хорошо отоварились, муки взяли в рыбкоопе три мешка и сахар в чай клали — не жалели. А нынче вот и собака зверная, и белка в гайне есть — прошлый год урожайный на шишку, но стрелять Нюра стала совсем неспособной, рука дрожит, и глаз затекает слезой, а после крещения уж и вовсе не брала Нюра в лес винтовочку, ибо мажет она пулькой по зверю.

Здесь, в распадке, наверное, все утро жировал куропоть: набродов было так много, что снег казался истоптанным и заледеневшим, словно бы птица вела свой базар, и помет, похожий на ольховые сережки, еще не успел закаменеть, а значит, куропти иль только что снялись, заслышав снежный скрип под ногой человека, иль, подкусывая березовые почки, скатились по низине на гривку болота, где у Нюры были натыканы силья.

Неожиданно Нюрину тропу рассек лисовый след. И по выбросам следа, по напряженному тянущемуся шагу старуха поняла сразу, что зверь скрадывает куропачью стаю. Потому мысленно представила, как

лиса мечется сейчас от сила к силу, выгрызая птичьи загривки, разметывая по снегу брусничник крови и еще теплое перо, и от этих представлений душа накалилась и застонала: «Ой ты, осподи, касть окаянная, повадилась по сильям шастать и старуху зорить». Нюра заторопила лыжи, насколько терпел дух, напрягла обмерзшие глаза, грудь сразу вспотела и пошла ходуном под опревающей душегреей, а сучонка Егарма, чуя хозяйкину досаду, скользнула с лыжни в ольховник и пошла наискосок лисьему следу, раскидывая кривые ноги и напрягая понятливое сердчишко.

Но еще не выкатилась Нюра на край лощины, как на дальней стороне березняка растрепанным снежным облаком вспучилась богатая куропачья стая и, резко запрокинувшись по крутой дуге, опала скоро за Куртяевским ручьем. А следом из ближних ивняков вскидывались белыми хлопьями запоздавшие птицы и, словно бы пущенные из пращи, не летели даже, а пронизывали воздух, и частый напряженный перебор крыльев походил на усердное хлопанье загрубелых ладоней.

Все было понятно Нюре, все понятно, и потому она снова ускорила шаг, сдирая через голову ремень ружьишка и шаря дрожащим стволом по кустам, но как ни ожидала она лису, разыскивая ее взглядом, а все-таки по старости своей нашла запоздало, когда та полыхнула меж стволов и струисто уплыла в кочкарник. Там же звонко и надсадливо залилась Егарма, и злобный стон ее долго угасал в Куртяевском бору. То тут, то там меж кустов неожиданно выбрасывались куропти, и сразу вспыхивал заполошный перебор крыл — это птица норовила уйти в небо, но петля, туго скрученная из конского волоса, резала гибкую податливую шею и намертво возвращала в снега.

Нюра еще издали окинула взглядом путик и поняла, что рыжая лесовая собака не успела пробежаться по нему и напроказить, может, погрызла двух-трех тундровых куриц, никак не больше. Наверное, куропти жировали здесь всю последнюю неделю, пока Нюра не навещала лес, потому что попавшие в силья днями раньше были уже присыпаны порошей и лежали мертвыми сугробиками, спрятав маленькую головку под крыло и прикрыв остекленелые глаза голым выпуклым веком. Стылых птиц Нюра не выпутывала из петель — слишком хлопотное на морозе дело, а складывала в лузан вместе с сильями. Улов был щедрый, даже слишком богатый, второй такой за нынешнюю зиму, потому хотелось собрать его до сумерек, не оставляя на проказу лисам, и вернуться в дом. Но самые удачливые тропы Нюра не сиротила и, несмотря на нытье в пояснице и колотье под лопаткой, поправляла стенки из березовых веток, настораживала в воротцах новые петли и скрадывала свежим снегом бурые россыпи мерзлой крови. Живым куроптям Нюра сдавливала на шее позвонок, и птица сразу затихала, разметав крылья, как-то ласково было слышать, когда по закоченевшей ладони струилось затихающее живое тепло. Питерка жила посреди природы, охота была ее буднем и праздником, поильцем и кормильцем, тяжкой работой и весельем, потому и шла старуха по путику мерно и расчетливо, чтобы так просто не расплескать силы в застывшем сонном лесу, где ты один на один с жестоко-суровым и незримым духом тайги. Потому заполошные восторги, давно забытые ею, нынче не нарушали спокоя, и старческие пальцы не дрожали возбужденно, нащупывая на пульсирующей куропачьей шее тот особый неприметный бугорок, на который и требовалось несильно и спокойно надавить, чтобы лишить птицу жизни. Нюра, по ее разумению, не творила тем самым греха, ибо всевышним разумным желанием поставлено помимо нас и навечно, чтобы каждый имел свой смертный предел и свою особую смерть: домашней скотине от топора пасть, птице боровой удавлену быть иль застрелену — но в свой час, а человеку положено кончиться на домашнем одре под косой костлявой старухи. Это и есть величайшая справедливость. И лишь тот человек, уподобившись зверю, совершает непростимый грех, когда все живое вокруг себя лишает любви во время любви, когда мертвит живое ранее положенного всевышним срока, сиротя детей и род его обрубая в изначалии пути.

Многое было обдумано Нюрой возвышенно и смиренно, и то отступая от бога, то вновь подступаясь к нему душою, она успокоилась от мысли, что раз жива, то и доживать надо, не гневя судьбу, ибо ничего нет на свете выше жизни, и все, что вокруг нее — в лесу ли, в воде ли, иль в воздухе,— только назначено для ее укрепления и продления. Вот почему Нюрино сердце билось ровно, добыча не взволновала и не изумила ее, душа не заметалась от тоски до восторга, и только от вполне понятного удовольствия сейчас дышалось как-то спокойней, да голова в меховом куколе отпотела, и волос не так покалывал и знобил всегда стынущую на затылке кожу. Сколько лосей загнала Нюра за свою охотничью жизнь, пластая их ножом на дымящемся от крови снегу, сколько освежевала куниц и лис, распяливая на вешалах чулком, сколько взяла боровой птицы с ружья и петлей, чтобы продлить свою и людскую жизнь, и ни разу ее дух не замутился скорбью и печальными мыслями, и призраки звериных душ ни разу не навестили ее во вдовьих снах, ибо брала Нюра в природе, по ее разумению, лишь то, что отмеряно было ей для питания бренной плоти и поддержания гаснущего духа. «Чудно как-то, ей-богу, чудно,— подумала однажды Нюра, встряхивая кунью шелковистую полость и ощущая ладонью ее живое теплое скольжение. Мимолетная жалость и неясная грусть родились в расплывчатом сознании, поскорбела Нюра о ком-то, вроде бы близком ей человеке — сыне иль брате, и тут же забылось все.— Душу загубила, а скорби нет». Но, может, по этой причине вспомнилась чернавушка, по двенадцатому году корова, как подавилась она рыбьей костью, и, лежа на застойном опухшем боку, влажно мерцала выпученным карим глазом, подернутым розовой слизью. Корова давилась, роняла тягучую пену и задышливо напрягала бок, а Нюра обвалилась подле, не чуя склизкого, напитанного мочой и навозом

пола, и все гладила кормилицу и уговаривала подняться, хотя задним умом понимала, что корове конец, забивать ее надо, нынче же под топор класть, иначе попусту в землю срывать придется, ой ты, осподи. Но и привычная к ружью и ножу рука не подымалась, чтобы удавить чернавушку под круто завитые рога, в эти добрые, омытые жаром глаза, и Нюра с нерастворимым камнем в груди кинулась в деревню к племяннику Мартыну Петенбургу. И досель помнится, как пришел он, и сронил корову обухом, и ободрал, и, краснея голыми подмороженными ляжками, она еще долго висела на повети, и Нюра первое время куска мяса не могла принять в себя, а уж после, исподволь как-то, разрубила тушу, да и разнесла ее по деревне гостинцем...

5

Из двух сотен сильев, расставленных вдоль болота в чахлом березняке, Нюра осмотрела чуть более половины, но уже забила лузан, большой охотничий мешок на две стороны, и, по ее разуменью, в него вместилось куроптей полста. Нюра как бы огорбатела с двух сторон сразу, получалось, что ее вроде бы поглотил другой человек, и того, другого, бесформенно оплывшего, она и таскала на себе, чувствуя, как постанывает и поддает книзу ее хрупкий ныне костяной остов: даже нагибаться стало неловко, и голова едва просовывалась сверху, не видя ничего под ногою. Надо было скинуть лузан, и собрать остальной улов, да подвесить связку куроптей подальше от лисьего нюха, но силы угасали как-то быстро и были на самом остатке. Нюре подумалось, что следует выкатиться на Куртяевский ручей, где стоит не то старинная часовенка, не то промышленная изба, в которой можно бы освободиться от груза, а то и заночевать, не надеясь на старые ноги.

Когда-то напротив нее стояла церковка Алексею, человеку божьему, но ее в тридцатых годах порушили, раскатали по бревнышку, а часовенку загадили самым диким образом, и много сил после ухлопала Нюра, чтобы привести ее в потребный вид. А ведь было время, что из дальних мест, невообразимых и неподвластных глазу и мысли, стекались в Вазицу толпы страждущих и уж потом брели сюда, за пятнадцать верст, чтобы окунуть в целебную воду свербящие и гноящиеся раны, чтобы пожить посреди и наедине с природой, где даже сам воздух был полезен для томящегося нутра. А в часовенке была полка, которую грызли паломники, и им, погруженным в неясные предчувствия и страдания, помогло это дерево от зубной боли. Прокопий, сторож, тайно бранился, но гнать не гнал, а полки, которые он мастерил заново, все изгрызали подчистую, так что надоело строгать их.

Напротив часовенки над рекой воздух едва переливался, словно бы кто невидимый курил сам благовония, снег над омутом вспухал и зыбился, облитый нездоровой, чахоточной желтизной, знать, вода точила лед с исподу, облизывая его до тайной предательской ломкости, и даже зверь, чуя западню, старался обойти это коварное место. Нюра толкнулась в избушку, полную прелых запахов и сырости, тут же опала на лавку и освободилась от лузана, потом так посидела еще, косо привалившись к стене и устало поглядывая в оконце. Солнце уже оплыло, обтаяло с краев, полное багрового тревожного мрака, мартовский день умирал грустно, без той утренней новизны и радости, и речонку располосовали настоянные синевой неспокойные глубокие тени. Одна из них отслоилась от часовенки и легла наискосок через Куртяевку, словно обманчивая зазывная тропина. «Тут ведь тогда Мишка Крень и погинул,— вспомнилось снова. — Осподи, осподи, нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Во всем дух и воля. Не свое — не удержишь». Еще что-то бормотала Нюра, облизывая пересохшие губы и не сводя мутного взгляда с этой заманной тропины, что пролегла меж берегов и тревожно шевелилась, стекая вверх, к перекатам.

«...Все она, все жадность людская и зависть,— подумала Нюра. — Через нее погибель. Забыли душу, забыли, сами себя забыли, откровение свое забыли. Ох те мне, куда стремимся, во имя чего страдания сеем и жнем, такую войну вынесли, осиротели так. Ради хлеба насущного иль заради смысла какого? А я одна-одинешенька, сирота-сиротея посреди воли, и мне благостно... Ой ты, баба Нюра, плетня ты лешева, чего мелешь? Расселась, как чурка березова. У тебя свои дела, у тебя своя неволя, кто от нее освободил?.. А захочу, и не пойду, а захочу, дак сяду и не сдвинусь, и никто меня не толкнет — не задиет.

...Глупа, ой глупа баба, ведь лиса-хитровановна проглядит силышки и напакостит, всех куроптей растеребит, по снегу истреплет, тебе же в убыток... Но устала я, опристала, как худа скотина, и ничего мне более не нать. От жизни устала да от работы бесконечной. Одной-то мне много ли надо, кусочонка хлебушка да глоточка водички. А никуда не пойду, не пойду — и все, лягу вот тут и буду лежать, к лешему весь промысел, пропади он пропадом! Не свое — не ухватишь, не свое — не удержишь, а что мое, то со мной и во мне пребудет. И бутылочка сгодилась, в самую пору пришлась посудинка, не зря ее перла с собой: и сыночка помянула, и самой в хозяйстве прибыток. Пойду сейчас и животворной водицы из Куртяевки наберу, буду на полке полеживать да попивать целительную влагу, быть может, душа моя оживет и загорится вновь. Ой, побегу тогда на деревню, еще какого-ли мужика завалящего окручу-захомутаю. Вот Семеюшку-то и посватаю, отобью от старой женки, скажу, Семеюшко-Семеюшко, не позабыл ли, как целовались-миловались, бросай ты свою бабу-старуху, корову комолую, да ступай со мной, каждый день коклетами из сохатины кормить буду. Ой, заживем, да сладимся, да и слюбимся!.. Бабка Нюрка, бабка Нюрка, ты пошто эту околесицу несешь, знать, уродова дочь-знобея забирает тебя: каждая косточка тоскнет, отдыха просит. Ой, плохо-то мне-е-е...»

Помотала головой охотница, неожиданно тонким голосом подвыла. Потом опомнилась, пересилила себя, затопила каменицу и куроптя опалила, навела

густой синий чад в зимовейке, а опустошив птичью брюшину и зоб, туго набитый березовой почкой, опустила тушку в закипающую воду: вот, Нюра, и варево тебе, вот и пропитание. Какие-то неясные предчувствия томили Питерку, и так померещилось ей и решилось тайно, что вот и смерть настигла в самом неподходящем месте; кто-то когда еще хватится, через какие времена. Тут и ворону не подлететь, и лисе не словчиться, разве только мышь-норушка тихо-тихо выточит ей глаза. Но, пересиливая натуру и свои мысли, подчиняясь зову стонущей плоти, еще сходила Нюра к перекату, окунулась в дурно пахнущий туман — лицо сразу отсырело и заслезилось — и зачерпнула бутылку живительной воды.

Откуда-то вдруг выметнулась собака, виновато виляя хвостом, ткнулась в ноги, чуть не сронила старуху в кипящий на морозе ручей. Нюра вздрогнула, осердясь, пнула Егарму: «У, падина, ослепла, што ли? Лезет тоже... лезет, куда не просят».

Договорила уже спокойно, почти виновато, погасив голос до шепота и виня себя за нечаянный тычок. «Зверь областился к ней, а она его пинком. Тоже дура баба, вовсе с ума сошла».

В зимовейке Нюра располовинила вареную куропатку, собачью долю вынесла на мороз остыть. Егарма проводила старуху согласным взглядом и не шевельнулась, тонким подвизгом выказывая любовь и преданность. Потом Нюра сидела под оконцем и косо стертыми до самых десен зубами вяло жевала дичину, вернее, ее жевала, а перетирала каждое волоконце, не чувствуя сытного и горячего вкуса еды. Язык был шершавый, как терка, и саднил. «Прохватило где ни то»,— подумала опустошенно, оглядываясь в полумрак, едва разбавленный жидким березовым светом. Лучина, воткнутая в паз, горела неровно и трещала, порой вспыхивала, роняя искры, и в этом сумраке Нюре все казалось зыбким и ненадежным: «Хоть бы завтре до избы попасть, не свалиться тут. Вот где угораздило заболеть». Потом она, кряхтя, полезла на высокий полок, который сама же и срубила еще в тридцатых годах, когда прибрала пустующую часовенку. Каменица нагрелась, наверху было особенно душно, а может, Нюру уже долил жар, и она сняла с себя меховую душегрею, сунула ее для мягкости под выпирающие лопатки и хребтину.

В углу собака доедала куропатку, сочно хрумкая и постанывая, вверху, в проеме старого купола, кряхтели и гулькали лесные дикие птицы, отходя ко сну. Свет лучины не проникал в пустоту деревянной луковки, и оттого чудилось, что крыша равномерно сбегается в одну круглую сквозную пустоту, которая уходит куда-то в тягучий мрак и засасывает в себя. И женщина вдруг ощутила свое худое угловатое тело, распростертое на жестком ложе. Ей показалось, что она распята и оголена для всеобщего посмотрения, потом неисповедимая сила подъяла примост с ее худосочной плотью и понесла. Нюре стало страшно этого полета, и она вскрикнула. Тут лучина вспыхнула прощально и, пуская горелую вонь, умерла. Старуха всмотрелась в тень до призрачных кругов в глазах, тело куда-то пропало, растворилось, осталась лишь распухшая гудящая голова с черными ускользающими провалами да вихревые белые круги, которые никак было не удержать, и тут ей померещилось, что она уже мертва, и отовсюду из зальдившихся пор земли течет в нее замораживающий могильный холод. Преодолевая слабость, Нюра напрягла разум и поняла, что ее знобит и зуб не попадает на зуб от дрожи, которая долит и бессилит плоть. Больно стукаясь локтями, Питерка достала из-под себя малицу и укрылась ею, стараясь согреться дыханием, потом голова ее безвольно откачнулась набок, и на переносье скатилась холодная слеза.

Впервые за многие годы Нюре стало по-сиротски одиноко, она вдруг поняла, как стара уже, и так захотелось помутившимся разумом, чтобы кто-то пришел сейчас и утешил, сказал на ухо несколько негромких добрых слов, от которых бы душа ее окрепла и возмутилась смерти.

Раньше охотница жила всегда сиротой посреди людей и, навещая деревню, постоянно замечала по тем посторонним настороженным взглядам, какими провожали ее, что людям не до вдовицы, у них свое незабываемое горе, свои неиссякаемые заботы, и собственным присутствием она, Нюра, как бы мешает однодеревенцам проникнуться полностью своими думами и делами; и потому, переживая за близких ее сердцу печищан, она стремилась уйти от них, чтобы собственное несчастье и сиротство каким-то боком случайно не переложить на них.

Нюра убегала от людей, чувствуя себя сиротой средь них, она скрывалась в своей зимовейке иль надолго уходила в леса, на Лебяжьи озера, где сосны вставали церковными куполами и посреди белых хрупких мхов было жарко и распаренно дышать. И там, посреди покойного дыхания бора, назойливого комариного гуда и тяжелого плесканья разморившихся сигов на расплавленной глади озера, сердце ее замирало, и плоть растекалась и растворялась посреди успокоенно дышащей природы. И все тогда было куда как тихо, благостно и хорошо. Объяснимо ли было в словах такое ее состояние, Нюра не знала и не пробовала никогда выразить его голосом, но только где-то в самой глубине души она чувствовала постоянное тепло и свет крохотной свечечки, не дающей затемниться жизни, погрузиться ей в мрак того отчаяния, которое даже людей сильных лишает твердости разума.

Уходя от людей, Нюра каждый раз согревала себя тайной надеждой, что она может в любое время вернуться к ним и они ее примут: и от того только, что она могла это исполнить, жизнь обретала иной смысл. Но сегодня Нюра впервые, пожалуй, почувствовала полную старость, свои семьдесят два года и всю полную безысходность житья. И потому она так по-сиротски и беспомощно плакала ныне, так желала увидеть подле себя живую душу, что, словно бы наяву, услышала, как скрипуче заговорили ступени крылечка, заходила под шальной ногой промерзшая дверь, кто-то пьяно матерился и икал. «Осподи, кого это несет на ночь глядя?» — спросила

себя Нюра, потуже запахнулась в полушалок и вышла в сенцы.

— Кто там, на ночь глядя да в стороне от дороги? С худым умыслом иль заблудший какой?— крикнула в потемки, напрягая слух.

— Это я, слышь, Питерка, это я. Чай, не признала-те Мишку Креня?

— Ну-ну, не шуткуй... Михайло Крень, царствие ему, злодею, еще в двадцать девятом погинул, чуть опосля моего сына.

— А ты не бонсь, ты дверь-то отпахни да глянь...

— Чего мне бояться-то, осподи, добра не нажито, а сама из возраста вышла, чтобы чего пугаться. На доброго гостя, дак хлеб-соль, а на нечистую силу — крест да святая молитва.

И легко, с какой-то надеждой и неясным любопытством откинула Нюра щеколду. В проеме двери стоял сутулый мужик с закуржавевшей бородой и чугунными глазами на покойницком лике. «А и взаболь ты, Михайло. Ну заходи, коли с добром». Хозяйка повернулась к гостю спиной и прошла в избу, слыша за собой дурное надсадистое дыхание.

...И в горячечном темном сне Нюра Питерка заново пережила тот давний вечер и ночь, так внезапно осиротившую ее.

Еще перед смертью Парамон Петенбург уговаривал сестреницу: «Переезжай ко мне, Нюрка, две головешки рядом ярче горят. Да и сын будет под боком». И Нюра дальним умом соглашалась, что хватит себя сиротить, жить на хуторе у черта на куличках, но в ту же пору, заглядывая на подросшую племянницу Юльку, думала тайком, заранее осторожничая (береженого и бог бережет), вот девка на выданье, скоро и мужика в дом приведет, а Парамон, братушка дорогой, долго не протянет, все животом мается, помрет, дак я куда денусь, вроде бы и лишней окажусь. «Перебирайся, хватит куковать на отшибе,— настаивал брат.— Хоть сына обиходишь, приберешь к рукам, да и море рядом».— «Нет, уж, Парамоша, страшновато как-то. И житье свое зорить не хочу. Легко говорится, да трудно наживается. Как строилась, думала, пуповина развяжется»,— отговаривалась Нюра. «А и мы тебе не чужие, одного помеса. Отцов дом-от,— обижался Парамон, быстро воспламеняясь восприимчивым сердцем, и вдруг тоскливо добавлял, пряча выцветшие от боли глаза:— Помру, вишь, скоро. Душа моя ныне еду не примат».

Нюре было жалко брата, она понимала его одиночество, но словно бы предчувствие какое томило ее изо дня в день и она ворчливо отказывалась: «Не-не, в своем-то доме и худое к добру, а в чужом житье и добро к худу. Не неволь, Парамонушко. У тебя своя девка на выданье, обиходит».— «Ну как знаешь, было бы предложено. У вас, у баб, и пятница-то в субботу»,— последнее слово оставил за собой Парамон. И больше после того разговора не видела Нюра с братом, лишь мертвого осенила истинным православным крестом и поцеловала в усохший ледяной лоб.

Вот как все повернулось, как повернулось... Осподи, и пожил-то не вздохнувши ладом, покуда тотамка германьска война шла, газами травился да в плену всякое на себе испытал, а как замирились, тут вскорости и революцию сделали, да еще сколько после воевал, шашки из рук не выпускал, шашка-то от чужой крови заржавела, а жизни не видал. Порассказывал-то всего, не приведи осподь пережить человеку, ради чего мучения примают, за какой грех: такое короткое житье — с воробьиный скок, а толком и его не могут скоротать, друг дружку убивают да хвалятся, кто больше крови прольет, тот и ерой, а дома небось мати ждет, горючая слеза не просыхает, женка в молодых годах сохнет, деточки малы сиротеют без отцовского догляда. Кругом одно худо. Осподи, сколь злы и ненасытны люди, от зависти избравшие такую забаву, хуже любого злыдня и оборотня лесного. С той войны-то и люди дичают по-худому, теряют свое истинное обличье. Рассказывал было Парамон, как приятель его все с госпитальной койки на волю убегал. Украдет ли чего в палате, продаст и пропьет. А у самого рот был наглухо зашит, кожу на щеку — тоже страх божий —, приживляли с лобка сначала на руку, а уж с руки на щеку. Он украдет чего, дак продаст, водку вольет через дыру в щеке: «До места дойдет»,— а как напьется, осатанеет в горячке и оторвет кожу со щеки. И опять начинай все лечение по новой...

Вот и сынок, Акимушко, через то сражение прошел и окаменел, поди: чует-нет людское страдание, когда вершит суд. Как тут распознать, где найти меру, осподи, чтобы добро на добро и зло на добро. В Евангелии же сказано: и предаст брат брата на смерть, и отец — сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их.

Ведь как говорила: «Акимушко, брось ты сельсоветскую работу, всем мил никогда не будешь, сладкое разлижут, горькое расплюют. Нам ли с тобой бы в лесу не житье: белки нынь сколько, косача, марюху не переловить». Но он все одно карандашом тычет в руку, пиши, мать, пиши: «Бабы не рабы, рабы не бабы. Царство разума впереди, ни горя, ни слез, а по текущему моменту — даешь мировой коммунизм. Иль не так, а?» А я ему: «Не-е-е, сыночек, как велишь — напишу, правда, огороду городить я не мастерица, но только одинаково-то люди никогда жить не будут. Уж такая это природа. Один живет — красуется, другой — позорится. Не нами поставлено, не нам и менять то. Разве всех уравняешь? Звери разны, дерева в лесу разны, а тут люди... Осподи, хоть бы чего не случилось с парничком, уж котору неделю не видела. Один у меня свет в окне».

Так коротала вечер Нюра Питерка, подгадывая сына, а вдруг сегодня заявится навестить мать, как снег на голову свалится, и когда расслышала на заулке мокрый храп оленей, то сразу обрадованно всполошилась: вот и он, Акимушко, легок на помине, боле некому в такой час, небось с попутьем каким и завернул домой. Накинула на плечи полушубок, выскочила в сенцы и, откинув щеколду, готовно распахнула дверь. «Акимушко, ты чего поздно?» — спросила счастливо, и тут сердце вроде бы оборвалось. Кто-то чужой вырос в проеме дверей и громоздко шагнул навстречу, обдавая лесовой морозной стужей. «Пойдем, хозяйка, в избу. Это я... Крень Михайло... Не боись... Примай гостя».

Нюра отрешенно провела гостя в избу, еще не в силах понять сердцем, что случилось, ибо так внезапно кончились ее надежда и радость, и внутри осталась одна пустота, тягучая, горестная, которая сразу же залилась слезливой обидой на сына. «Свою мать на чужих людей променял. Не мог минуточку найти, чтобы проведать...» Но тут встрепенулось сердце, обрело себя, и Нюра с новой надеждой взглянула на дверь, словно поджидала кого-то еще. Только никто не вошел больше, и в притвор меж соломенных обвязок кудрявым дымком сочился морозный пар. Мишка Крень стоял у порога, широко и прочно расплалив ноги, словно побаивался опрокинуться на бок, и закоченелыми пальцами выдирал из бороды снежную наморозь. Гнедые, узко поставленные глаза выглядывали из-под оленьей шапки настороженно и угрюмо, отыскивали в лице хозяйки что-то согласное своим мыслям и желаниям.

— Ехал мимо, дак дай, думаю, ужо ... заеду. Крюк не ахти. Примай гостя, Питерка.— Последние слова Крень почти выкрикнул вопросительно и зло. Говорил он трудно, мыча и заикаясь, словно с великим трудом управлял закоченевшим языком, а глаза шарили по Нюриному лицу, будто целились в него, приноравливались, куда ловчее и больнее ударить.

— И не стареешь... хотя молодуха ведь... В бабы ко мне хошь? Я слободен, ха-ха... Баба Яга. Ну-ко встань, я к тебе примерюсь.

— В постели ровня будем, чего мериться. Языком-то чеши да приноравливайся,— ровным голосом оборвала Нюра, не обижаясь на Мишку.— Как гость, дак проходи, ты мне зла не делал. Мы гостям завсегда рады,— пригласила

Нюра, сама поднимаясь навстречу, костистая, большеголовая, с прямыми плечами. Направилась к печи, чтобы наставить самовар.

— Отец-то каков?

— Бог смерти не дает...

Нюра взглянула изумленно на гостя, но промолчала, зная крутой креневский нрав.

Мужик прошел в передний угол, сел, выкинув на столешню пудовые, синие от мороза кулачищи с глубокими, закровеневшими рубцами на кистях. Он так и сидел, побычьи склонив покатый широкий лоб, разрезанный рыхлыми морщинами, и тупо разглядывал на руке следы от кожаного аркана-тынзея. О чем думал он в эти минуты? Может, заново переживал пронзительные и жутко-радостные, неповторимые мгновения, когда, махнувши на все рукой, полный безрассудства и злого отчаяния, гнал по Вазице застоявшихся оленей, настигая идущего к дому председателя сельсовета... Метр, еще метр заснеженной улицы, теперь самый момент, взмах напруженной руки, холодящий свист тынзея, короткий придушенный вскрик, и вот уже безмолвное тело волочится за нартами, оставляя в снежном бездорожье глубокую борозду, и тынзей с хрустом вминается в каменеющую руку. Потом недолгая и странная дорога сюда. Зачем, зачем она? И мозг свербит и саднит упрямая мысль, сейчас потерявшая свою ясность: «Я тебе иделаю уравниловку...»

А Нюра, направив самовар, так и осталась стоять возле запечья, держа в руке лучинник — обломок косы. Она всматривалась в гостя и пугалась его застывшей на лице неживой улыбки. «Медведь медведем... Такой налезет, только управляйся. Сотворил же господь человека». Нюра не испугалась Креня, но в душе ее ожила тревога, которая обычно холодила душу, когда охотница шла на лося и медведя: и задор есть, и отступать поздно, а всетаки разум невольно страшится этой дикой лесовой силы, которую нужно облукавить и одолеть.

— Так и живешь? — вдруг спросил Мишка, поднимая на Нюру угрюмый, давящий взгляд.

— Так и живу, Михайло Федорович...

— Значит, так и живешь. Да-а...

— Как видишь. Без утайки, все на виду.

Нюра занесла на стол пузатый с погнутым краником самовар, заварила крутой чай.

— Водки хочу,— хриплым голосом выдохнул Крень.— Вод-ки-и... Та-щи,— тупо повторил он и внезапно вспыхнул весь, побагровел лицом, морщины налились и рубцами вспухли на просторном лбу.

— В житье водки не держим, Михайло Федорович. Пропусти чайком-то через себя, обогрей нутро,— предложила Нюра.

— Ограбили, разорили... Твой выродок пустил по свету! — выкрикнул Мишка и вздрогнул всем телом, словно опомнился от застойного долгого сна, пристально взглянул на дверь, которая в жидком свете сальника забилась и словно бы шевелилась размытым черным пятном. Почудилось внезапно, что сейчас где-то погоня хватилась его и мчится сюда, а он, Мишка, по необъяснимой прихоти иль чужой воле вдруг оказался в Питеркиной избе и, будто завороженный, сидит в застолье, не в силах шевельнуться околдованным, налитым беспомощностью телом... Ворвутся, заарестуют, погонят этапом и сронят голову. И нажился, нажился...

Очнулся, обвел пристальным взглядом избу, обшарил глазами Питерку, высокую, по-мужски скроенную, сверкнула в голове безумная мысль: такую топором только да по виску. И это безумье продолжилось — захотелось мстительно насладиться чужим горем: «Смерть ей легкота, раз — и нету... А пусть волчицей взвоет над Акимкой. Воем меня проводит, воем. Ищи после Мишку Креня, ищи. В тундре, как в море, легко затеряться».

Думалось теперь ровно и холодно, и постоянно помнилось, что на заулке, запорошенный снегом, лежит Акимко Селиверстов — сын Питерки.

— Ты на Акимушку зря эдак,— сказала запоздало Нюра, придвигая к гостю кружку с чаем. — Не им постановлено... Разве один бы решился?

— Кто это постанавливал кусок изо рта вырывать? Не им наживалось, не им. Рты раззявили, сами не свои на готовенькое. Сволочи, руки поотрываю... Ты меня, Нюрка, знаешь.

— Как тебя не знать-то, осподи, еще беспорточного знавала, такой был пакостник,— вдруг обиделась за сына Нюра, внутренне сжимаясь от Мишкиных угроз: «Святая богоматерь, хоть бы што не натворил, ирод». Сразу покопалась в памяти, и как-то скоро, на удивление скоро, нашелся подходящий случай. — Твой-то папаша тоже хорек. Забыл небось, а при тебе же было, как в двадцать первом надо мной посмеялся он. Я ему пушнину, а Крень за кунью шкуру четыре фунта муки дает. И лыбится еще: никто не неволит, мол. А голод был, куда кинешься? Я и говорю: лучше порежу, на ветер пущу, такое зло меня взяло. И давай шкуры ножом пластать. А он руки в боки и хохочет, дьявол: Нюрка Питерка ндравна, Нюрка в нашем краю всех богаче.

— Сама же дура, кого тут винить...

— Да как не дура-то, но такая досада взяла. Думала, гад ты эдакий, ведь на хлебе сидишь.

— Сволочи, што ему хлеб-то задарма доставался? — спросил Мишка, тут же срываясь на визгливый крик, рукавом совика смахнул со стола кружку. — Пошто на чужое-то... Может, мы тогда сами кору жрали... Пошто не подавитесь-то,— вопил мужик, грозно приподнимаясь над Нюрой, и нервная судорога трепала темное обмороженное лицо. — По копейке сбирали... Пальцы от весел к ладоням приросли... Ты гли... гли, какие руки-ти.

— Ну буде, ну ладно. На глотку-то что... В гостях находишься. Я ведь тебя не держу, голубчик, ишь, руками размахался, за посуду-то деньги плочены,— сурово оборвала Нюра, стараясь не повышать голоса и подавляя внутреннюю дрожь. — Ты лучше скажи мне, как там мой Екимушко поживает, жив-здоров? Матерь родную совсем боле забыл.

— А что он, он ничего,— ровно, отмечая каждое слово, сказал Крень, снова настороженно взглядывая на дверь. — Он-то власть ныне, ни лешего с ним не сдеется. Да...

И Крень опять нехорошо улыбнулся, с легким оскалом, и непроницаемо загустели, закаменели гнедые глаза. «Может, сальничек пригорел и свет померк?» — подумала Нюра, уже с неотступной тревогой наблюдая за Мишкой. Кровь туго забилась в висках, стало потно, и холщовая исподняя рубаха приклеилась к спине... «Все неспроста, ой, неспроста он здесе-ка»,— отчетливо проступила в сознании мысль, она как бы взорвалась в голове и заставила на мгновение задохнуться, а потом кинулась в душу, затопила ее, и Нюра, унимая встрепенувшееся сердце, едва совладала с собой, чтобы не закричать. И тут снова холодно показалось в избе, и женщина замерзла, туже запахиваясь в полушалок.

Крень заметил эти перемены в бабьем лице, потому что поджидал их и готовился к ним. «Сучка, вскормила паденыша, а теперь повой-ко, повой»,— травил Мишка себя, сознавая, что нужно пересилить себя и уходить, ведь времени в обрез, но вялое опустошение словно бы связало руки-ноги, выпило, выжало все нутро, и кровь, и мозг, и оттого даже мысли казались плоскими и ненатуральными. Они вспыхивали сами собой и сами собой пропадали, оставляя ощущение темного провала.

— Дак ты видал его, нет? Толком скажи, чего крутишь? — настаивала Нюра, уже подозрительно отмечая каждое движение Креня. Но гость отрешенно молчал, и лишь нехорошая улыбка блуждала по лицу. Потом он трудно, по-стариковски кряхтя, поднялся и побрел к дверям, и Нюра крикнула вослед, в размякшую спину: — Ты, Михайло Федорович, шибко-то не разоряйся! Слышь, што я говорю тебе? Ты хоть на человека руку не подыми, слышь меня? Господь тебе то не простит. — Быстро зашлепала следом, словно готовилась перехватить Креня у порога, и снова мельком, но с особой пристальностью оглядела и обвисшие плечи, осыпанные сенной трухой, и толстую багровую шею, и курчавую голову с выпуклой лысинкой на темени. — Слышь, ты на плохое чего не осмелься.

Но Крень, постояв спиною к бабе, так же молча хлопнул дверью, и слышно было, как заскрипели и отпахнулись уличные ворота. Нюра подбежала к окну, словно могла что разглядеть там, прильнула к черному зальдившемуся стеклу, но ничего не высмотрела, кроме ночного мрака, правда, сквозь пазы в подоконье каждый звук на дворе был хорошо разборчив. Вот под ругань и пинки поднялись олени, на развороте певуче вскрикнули нарты, полоснули полозом о подмерзший снег. «Слава богу, отчалил, охальник»,— облегченно подумала Нюра, и тут в стену у самого окна гулко брякнул хорей.

— Эй, гостя прибери тут, сомлел весь! — каким-то чужим голосом крикнул с улицы Крень, и отсюда, из избы, Нюре почудилось, будто позвали ее лешачьим голосом из темной глуби колодца. Еще помялась у окна, решила, что ослышалась, сразу торопливо перебрала услышанные слова: какой-то там гость на улице и сомлел весь; небось чего кудесит Крень, не натворил бы беды напоследок. Накинула на плечи пальтюху и на крылечко вытаилась украдкой, готовая в любую минуту отступить, но тут же уловила охотничьим отработанным слухом, как, пробивая наст клешнятыми лапами, мерно бегут олени. Вздрагивая зябко и благодаря бога, что все хорошо обошлось, Нюра попятичьи повертела головой, обшарила взглядом погруженное во тьму подворье. И намерилась было вернуться в избу, как в желтой проталинке света увидела не то рогожный куль, наполовину набитый, не то олений совик. Нюра сначала подумала, что с великого горя все растерял Мишка, последнее добро посеял, наверное, выронил с нарт одежонку, когда разворачивал олешек. «Надо прибрать,— готовно решила,— пусть на повети лежит, места не унесет, а хозяин хватится и вернется в обрат да еще и спасибо скажет. Только куда же он на ночь глядя торит дорогу, злой и уросливый, да в сторону от деревни, от жилья?»

И двух шагов не сделала Нюра, как различила, что лежит человек. Осподи, осподи, захолонуло, захлебнулось сердце: по развороту тела, по хрусткой кожаной тужурке, тускло и особенно отблескивающей, сразу признала сына, но еще сама себя утешала, самой себе не верила, вслух наговаривала: «Ой, кто же там лежит? Беда ли с кем?.. Не лежи на снегу, застудишься. Эй, кто там?» — крикнула в сторону окна, а ноги уже торопились, неслись, и душа обвалилась куда-то, оставив в груди пустоту, готовую переполниться отчаянием.

Аким лежал деревянно, распластав в стороны ноги, словно бы его приковали гвоздями, русые волосы колтуном и пересыпанные снегом, в темноте казались седыми, а лицо было чугунной удушливой синевы. «Осподи, ты ли это?» — встала на колени, тронула сыновью щеку и тут же отдернула ладонь, услышав мертвый знакомый холод. «Сынушка, родненький, как же так, а? Осиротил ведь мамку... Сынушка, родненький...» Нюра словно бы пугалась снова дотронуться до Акима и тупо теребила пальтюху. В таком беспамятном состоянии, постарев сразу на добрый десяток лет, отправилась обратно в избу, запалила дворовый фонарь, открыла летнюю горенку по другую сторону сенец. В комнатке, чисто обихоженной и завешанной пучками высохших трав, было застужено за зиму, как в леднике. В сонном оцепенении Нюра жила и дальше, только руки ее, привыкшие за трудную сиротскую жизнь к любому заделью, будто сами вели свою работу. Отодвинула от стены широкую белую скамью, застелила цветным лоскутным одеялом, потом, скоро подумав, положила маленькую подушечку, набитую куропачьим пером, еще постояла у порога, подробно осматривая горенку. Аким словно бы закаменел иль налился свинцом, и даже Нюре, от рождения кроенной на мужика, затащить его в горницу было неловко и трудно: тело упрямилось и цеплялось за каждую ступеньку, за любой порожек. Но она заволокла сына, поместила на лавке, под голову подложила подушечку, набитую куропачьим пером. Ноги топырились в стороны, и пришлось связать их шерстяным кушаком. Фонарь Питерка поставила подле лавки и при его неярком свете, стоя на коленях, подробно рассмотрела лицо покойного, такое чужое и старое ныне, покрытое ссадинами и бурыми пятнами, и шею, насквозь перехваченную арканом-тынзеем. Туманно и вскользь подумалось, что надо бы обмыть сына, обиходить, приготовить его в последний путь, но не было сил подниматься, куда-то идти, что-то делать. Нюра так и сидела возле сына, а когда утренне прояснились оконца и свет фонаря померк, закрыла горенку на большой висячий замок, зарядила ружье самодельной пулей и направилась в лес.

Часа два Питерка катилась по следу упряжки, и ее охотничий взгляд по частому поскоку оленей, по тем пробежкам, которые то и дело повторял Крень, уловил, что вчерашний гость торопился как можно дальше убраться от избы. Но Питерка не ускорила шаг, не испугалась, что вот злодей может закатиться в глубину тундры и затаиться где-нибудь в приречной лощине, густо обросшей ельником, а потом из тусклого свинцового неба повалит сонный, размеренный снег и замутит, скроет следы. А может, потаенно думалось ей, умудренной, тертой лесовой бабе, что от нее не уйти Креню, никуда не деться, и даже запеленатый снегами след его невольно проступит под ее горестным взглядом? Нюра скользила размеренно и тупо, слезы застоялись в груди иль закаменели, но только розовые от бессонницы глаза оставались сухими. След упряжки повернул к Куртяевской часовенке, вывел к речке, и Нюра сразу насторожилась, изготовила ружье. Канувшая ночь была безлунной, Крень, наверное, торопился, потому что не остался на ночлег в часовенке, а, как обнаружила Питерка, ощупью спустился к перекату, окутанному кисло пахнущим паром. Мишка Крень хорошо знал море, его повадки, но плохо понимал норов леса, коварство петлистых таежных речушек, потому клубящийся, воняющий пар над полой мартовской водой смутил его. Видно было, как он неожиданно провалился у закрайки, едва схваченной поверху игольчатым ледком, с трудом вытянул из бурой жижи ноги и торопливо полез обратно в гору, к оленям, оставляя грязные следы. Потом Крень повернул упряжку вниз по речке, рассчитывая, видимо, что вскоре вода успокоится и накроется пластью льда, но, знать, спешил очень, хотел выгадать время и поторопился, направив упряжку на самые омута, обманчиво присыпанные снегом. И сейчас там парил черный бездонный провал...

6

Только на третий день Нюра пришла в себя и почувствовала, как словно бы выгорела вся, и плоть ее стала невесомой, растеряв нажитую ранее грузность и неловкость. И почудилось Питерке, что нет сейчас ничего в ней, кроме пустой оболочки и огромной души, которой необычно легко и вновь хочется жить. Старуха протянула исхудавшую руку за изголовье и нашарила в углу примоста бутылку с куртяевской водой. В горле пекло невыносимо, и нахолодевшая влага показалась невыразимо вкусной и благословенной. Нюра пила мелкими глотками, сдерживая жадность, и с каждой минутой приходила в себя: дряблая кожа наполнялась плотью, проявились ноющие кости, стонали бока, намятые за долгое лежанье жестким ложем, и душа постепенно уменьшилась, обтаяла и стала обыкновенной, но зато голова была теперь просветленной и готовно открытой для мыслей.

Собаке, наверное, надоело охранять хозяйку и голодать у порога, и она ушла в лес, лапами приоткрыв дверь. Выздоравливающим телом старуха почувствовала холод в зимовке и туманно решила, что пора вставать... Поболела, повалялась, как барыня, сказала Нюра себе, а раз не околела, то и жить надо, шевелиться, что-то делать, а если сил достанет, то и отправляться домой. Знать, время не пришло еще отходить на тот свет, где музыку рай-

скую играют ангелы, а в дивных садах зреют исцеляющие яблочки. Видно, не вступила еще на тот смертный порог, откуда уходят в вечный покой и где никто уж тебе не поможет: туда отплывают в сиротском одиночестве даже самые большие люди, что на вышине у всего мира числятся, и никто из посторонних не знает, как это случается, пока сами не повторят последний шаг, и, знать, лишь в эти минуты крайнего одиночества все равны, когда отринуто прошедшее и будущее уже не страшит...

Еще день Нюра провела в избушке, ела вареных куропаток и окрепла, а следующим утром вернулась на хутор. Вокруг избы все было свежо и чисто от снега, и Нюрин лыжный след на поляне едва просвечивал. Значит, никто не хватился старухи, и ничья душа не заныла от неясных предчувствий и тоски. Вступила Питерка в свое жилье, и прежние мысли вернулись к ней. Они кружились неторопливой чередой, но переживались Нюрой каждый раз столь же сильно и глубоко, как и впервые, когда рождались. Женщина жила так неторопливо, как может жить человек лишь посреди природы, и даже порой чудилось, что она разменивает чей-то чужой век. Когда Питерка вспоминала тех знакомых и родных, кто погиб или умер в молодых годах, то порой чувствовала себя очень старой и зажившейся на этой земле...

Мартовский снег не таял, но он как бы вымерзал, усыхал, незаметно садился, и теперь, подходя к оконцу, Нюра видела на дальнем мысу в прогале голых деревьев крохотный отсюда крест под двускатным тесовым навесом.

В простенке, еще свежая для глаза, висела фотография в коричневой рамке, и Питерка за день-то не раз и не два подходила к ней вплотную, приклеивалась взглядом. Старухе никто не мешал, домашние дела были постоянны, они вершились помимо ее сознания, как бы сами собой, а потому и думалось неторопливо и обстоятельно. Она вглядывалась в Семейку Нечаева, в его остолбенелые глаза под сурово заломленными бровями, на стрелки усиков, на детские еще губы без горестных морщинок в углах и невольно оттаивала. С недавних пор, все плотнее приближаясь к тому молодому времени и соприкасаясь в мыслях с Семейкой, Нюра не чувствовала себя обделенной счастьем и обрадованно думала, что и у нее тоже была своя необыкновенная любовь, о которой мечталось и рассказывалось еще в девичестве на посиделках. Нет-нет, ведь не могло же так случиться, что ее жизнь прошла без любви, чем же она, Нюра Питерка, хуже тех вазицких баб, которые, проводив мужей на войну, после в доверчивом вдовьем кругу гордо и горько хвалились ими, мертвыми.

Теперь в ее воспоминаниях Семейко Нечаев из вдовьих лет, когда она впервые повстречалась с ним, вдруг переместился в девичью пору, и будто бы она крутила с ним до самой свадьбы шальную греховную любовь, а за Лешку Губана по отцовской воле пошла уже распечатанной, и потому будто бы свекровь после первой брачной ночи испекла пустой пирог, без рыбы, и при всех гостях разломила его, трясла над застольем и позорила невестку.

Нюра повесила крохотный снимок Акима, где он был запечатлен в командирской шинели и островерхом шлеме, над фотографией Семейки Нечаева, стала зачем-то сравнивать их обличье, и надо же, ведь все-все сошлось: и нос чуть вздернутый, гордоватый, и круто взведенные брови, и слегка раздвоенный тяжелый подбородок.

Она помнила хорошо, что рожала лишь однажды и трудно. Вазицкая знахарка долго водила ее по натопленной баньке, а ребенок не шел, и бабка заставляла тужиться, потряхиваться: ну разве забудешь ту боль, чудилось, что она навечно застряла в крестце. Но, странное дело, минуло время, и все забылось, а от той внутренней боли остался словно бы послед, и роды в воспоминаниях уже не казались столь тяжкими, и настойчиво захотелось повторить те ощущения, обновить угасающую от одиночества плоть. Ведь овдовела так рано, еще и восемнадцати не исполнилось, не раскусив и не выпив всех радостей любви, а лишь неловко прикоснувшись к ним. С мужем и полугода не прожила, как по дурости погиб он. Потом сразу не нашлось трезвого подходящего мужика, и, поджидая, присматривая его на миру, старела незаметно Нюра. И согрешить боялась, хотя и подворачивался случай, вернее сказать, не то чтобы пугалась, а как-то странно было ей кого-то любить украдкой, мимоходом, распахивая всю себя первому встречному, чтобы тот взял ее небрежно и бросил тут же, разомлевшую, никогда не вспомнив больше. Ведь не звери же, осподи, сбежались — разбежались. И лишь через много-много лет, на самом краю жизни Питерка однажды пожалела, что не согрешила ни разу, и с того времени стала тужить и придумывать для себя сказку...

Нюра хорошо помнила, что на свет принесла одного, но грудью кормила двоих: один помер вскоре (рыженький и маломощный), сорвав от крика животик, а другой кусался попервости, когда брал титьку, и оттого грудь болела и трескалась в соске. Молоко у Нюры долго жило в грудях, и парня она кормила до четырех лет.

Это случилось так давно, и разве можно все воспринимать по-прежнему, и чтобы ничего не переменилось в душе, не переставилось местами в ней: так не бывает с человечьей жизнью, когда заново припоминаешь ее и как бы снова проживаешь в мыслях.

Тогда, летом девятисотого года, брат Парамон Петенбург заявился на хутор нежданно, встал у порога, длинный, худой, с младенческими голубыми глазами, в которых жила настороженная просьба. Нюра как раз стирку развела: сын всю ночь ревел, глаз не дал сомкнуть и только сейчас затих в зыбке — подумала, хоть это свободное время ухватить, просто вся извелась с парнем. А Парамон без слов вдруг тряпошный куль протягивает, а в нем дитя синюшное на последнем вздохе. Нюра только ой да ой, сразу осыпала пуговки на кофте, сунула ребенку грудь, туго налитую молоком, без слов, без расспро-

сов принялась хлопотать, изредка охая и кругля рано потускневшие глаза. Ее бы саму кто пожалел сейчас, восемнадцать лет девке, ей бы под пригля-дом отца-матери жить, не ведая печали, а тут одна-одинешенька на лесном хуторе посреди тайги...

Уж после, когда накормила мальчонку, как бы готовно усыновила его, положив в зыбку рядом со своим, тогда и выяснилось со слов брата, откуда крохотный человече взялся тут. Марья Задорина, монашенка из Келий, согрешила с Федькой Кренем и сколотного родила, ославила перед миром святую обитель. И сама нынче при смерти, греховодница, до вечера доживет ли, одному богу известно, а ребенка приказала манатейная монахиня отнести в лес на погибель, на съедение зверю и птице и этим возвысить дух свой, очиститься от скверны. А в ту пору и привелся там Парамоша Петенбург, на охоте в тех местах был, волею случая привелся иль провидения, и вот он у сестры с богоданным на руках... А Нюрка-то, Нюрка, вы гляньте на нее, ни слова против, только и попросила Парамона: «О робеночке-то не толкуй на деревне, завяжи язычок, а то пойдут разговоры: вот, мол, не успела Нюрка благоверного схоронить, как нагуляла сколотыша. А в нашем роду веком гулящих не было. Пусть в честь дедка нашего Акимом будет. Долгожданный, значит, удачливый, счастливый. Хорошее имечко». Сказала так и тут же тайно подумала: заживется ли парничок, синюшний весь, недоношенный?

Но не зажился-то у Нюры свой, рыжеватенький, а этот, приемыш лобастенький, с жадным стоном за титьку брался и выжил. И когда принималась кормить его, сама горя странным нетерпением, словно готовилась к облегчению всего естества, то всякий раз любопытно присматривалась к обличью парнишки, и по обширному лбу, далеко вырезанным глазам постоянно узнавала Креня. Но шли годы, Акимко оброс костями и мясом, вытянулся и заматерел, рано становясь мужиком, и, натирая ему спину в бане иль подсматривая на охоте, теперь Нюра сравнивала его с собой и находила похожие черты. Душою и плотью она уже давно приняла Акимку в себя. Это его так трудно принесла в баньке, надолго сохранив в утробе остаток родовой боли, ведь еще в животе он был ширококостный и своевольный, все ширился, толкался, мучая мамку, и норовил куда-то сбежать: это он жадно тянул грудь, и то давнее томление так и живет в ней.

Но в трезвом разуме ревниво теснились обидчивые мысли, порой до безумного страха пугающие ее: все чудилось, что в один черный день тайное станет явным, привернет на хутор Федор Крень и заберет сына. При свете сальника посреди ночи вглядывалась Нюра в спящего мальчишку и молилась богу, чтобы он не осиротил ее, оставив рядом сына... «Мой он, мой,— шептала она. — Не та мать, что родила, а та мать, которая поставила на ноги. Скажи, о боже, разумный и пресветлый, что это мой ребенок, а тот, приемыш, маломощный и синюшный, на второй неделе помер». Но бог молчал, а страх порою был невыносим, и, чтобы успокоиться, Нюра забирала сына с собой и надолго уходила в далекие суземы, где и за год может не встретиться живая душа. Там жизнь ее становилась спокойнее, устойчивее и значительней, все в ней наполнялось смыслом и законченностью. Да и Акимку лесовой сытый воздух и долгая ходьба быстро выгнали вверх и налили силой...

А теперь в душе у Нюры родилось новое желание. Она затеяла с собой и своей памятью неожиданную игру, которая утешала нынешнюю старую жизнь и в правдивости которой с каждым днем оставалось все меньше сомнений. Управляясь по хозяйству, еще с трудом таская слабое от болезни тело, Нюра не однажды застывала у простенка и смотрела на фотографии, сравнивая их. «Так и есть,— шептала она, задерживая на губах слабенькую улыбку, это неяркое отражение внутреннего волнения,— и глаза долгие, евонные, и подбородок-то гордоватый, егов, с продавлинкой, знать, до баб влюбчивый,—имела в виду Семейку Нечаева,— и у сына таковский же подбородок, с вмятинкой, но вот не замечала, чтобы Акимко за девками бегал. Все уговаривала: «Акимушко, доколь будешь себя старить и детушек малить, ведь скоро ни одна девка за тебя не пойдет, так и повянешь на корню». А он все: «Не ко времени, маманя, не ко времени, с делами управимся, тогда и свадьбу справим». — «Эх, Акимушка, дак этих дел горы. Их разве перевернешь, они меньше-то и не становятся, а все больше да круче, совсем невпроворот»,— вздыхала Нюра, наблюдая похудевшего сына, редко улыбающегося ныне. А теперь никаких делов не надо, лежит-полеживает во спокое под мамушкиным взглядом. Всех по справедливости равнял, а люди-то не больно охочи равняться, чтобы под одну гребенку состригали, каждый человек да с норовом, ой-ой, вот и забыли тебя, сынушка, забыли, уж редко кто, из стариков разве, вспомнит: это в тотамком году было, когда Акимко Питеркин Федора Креня зорил. А молодые уж и не вспомнят, у молодых свои заботы, такую войну перенести надо было, выстоять, сто лет икаться будет да на детях отзываться.

...И от Семейки тоже писёмушка нет, не заболел ли ненароком иль за что озлился: долго ли две строчки черкнуть — жив, мол, здоров, Нюра, чего и тебе желаю во многих цветущих летах. Если бы написал, дак всяко Тамарка-письмоноска запопутьем занесла бы, мимо же в Инцы едет, далече ли тут от моря, совсем рядом, а раз не тащит письма, значит, нету. А я вот возьму да и напишу другорядь, подожду денек-два, погожу, не буду горячиться и напишу по новой, мол, ты, кабыть, и не знаешь, а по мущинской линии ты не сплоховал тогда, и я от тебя бабой стала, парничка принесла. Нет-нет, еще подумает, мне чего надо от него. А мне и хочется только, чтобы не забывали люди друг дружку, на памяти нашей житье стоит... Не буду пугать, как-то еще воспримет: время делает человека, строгает его по-всякому. Другого так изуделает, прости ты, осподи, не признать, словно наново переменит. Искрутится

весь, изжадится, не знаешь, с какого боку и подступиться к нему.

Вон Гришка Таранин в молодости сколь любый парничок был, беленький, хорошенький, уважливый, а куда все подевалось? Пошли артелью лесовать, еще с осени в тайгу заходили, он лису линялую затравил, собаке бросил, потом и медведя в жаркий день сронил в глухомани, откуда не достать, да тут и бросил, только когти обрезал детишкам на забаву да кусок мяса на варю прихватил. Я ему сначала по-хорошему. «Гриша,— говорю,— ты пошто рушишь-то все походя, што на глаз попадет, душу лесовую не щадишь, житья ей не даешь?» А он одним ответом: «Ой, не могу, когда в лесу живое вижу, сразу возгораюсь». У него, у паразита, нутро горит, дак все и клади под свинец? Так и сказала ему, что на другой год боле с тобой не ходок, ищи другого напарника, а то закопаю где ли в тайге, за себя не поручусь. Дак до сих пор зуб на меня точит, так и ждет, что старуха к нему на поклон придет, уж никогда лошади колхозной не даст, чтобы зверя из тайги достать — такая сволочь выросла.

Может, и Семейко-то экий же нынче, и не подступись к нему? Осподи, прокатилось времечко, вроде и не живали.

В этих раздумьях снова день прожит, отгорела неяркая золотушная заря, слегка позолотив оконца, разбавив желтой водицей ледяную накипь на стеклах. Потом на воле воздух загустел, налился настороженной темью, спрятал поляну под замлевшие снега, и тайга вплотную набежала на избу, силясь окончательно застудить ее и покорить.

Так же не спеша Нюра наставила пузатый медный самоварчик с погнутым краном. В свое время самовар достался мужу, когда делились братовья. Кому телка, кому корова в хлев, а всем не хватило по животине, и младшему, Лешке, достался самовар, который по тем временам был редкостью и приравнивался по цене к доброй молодой корове. Нюре помнится, что первое время, невдолге после свадьбы, они часто разъезжали по гостям и самовар брали с собой, чтобы там, куда едут, напиться чаю из самовара, а не из закопченного чугунка.

Нюра самовар берегла, драила его песком от зелени, чтобы посудина обретала прежний солнечный цвет, а внутри скребла от накипи щеткой. Самоваром Нюра хвалилась в Вазице, всех знакомых зазывала на чай.

Так вот этот самовар сын Акимко однажды разорил. Под осень было, как сейчас помнится, обложники шли, так занепогодило, хоть из избы не выкуркивай.

«Так и было, будто сегодня случилось. А вот не забыла, поди ж ты»,— шептала Нюра, тупо вглядываясь в пузатенький самоварчик, гордовато стоявший на подставке и пыхающий огнем в прогоревшей жестяной трубе. Знать, к вечеру подморозило, и тяга была хорошей. Самовар сразу отпотел, стал из желтого белым и готовно зафырчал.

Тогда, помнится, пересилила себя, накинула балахон из дерюги, превратилась в рыжий неповоротливый куль, еще из этой берлоги показала красное обветренное лицо: «Я только до речки, рюжу посмотрю. А ты самовар, Акимушко, наставь да смотри без воды не согрей». Не больше часа и ходила, в избу вбежала: «Ой, в самую охотку чайку-то с холода. Эй, Акимушко?», а в избе пусто, и самовар расклеился весь, кран отпал, синий чад под потолком. Так и есть, без воды наставил... Раскипелась Нюра, зашарила по избе, на поветь сбегала, в баньку, бормотала ошарашенно, с готовной слезой на глазах: «Такой самоварчик разорил. Ну, растутыра, я тебе покажу, как по окнам глазеть. Шкуру спущу... Ну куда ты подевался? Эй, Акимко, куда затаился? Шкуру спущу, покажись-ко только».

Но сына нет, как сквозь землю провалился, сразу подумала на плохое, когда опомнилась, сердце шалить стало, и чего только на ум не пришло. Заметалась Питерка. «Значит, прозевал самовар, испугался и в лес сбежал. Ну куда же он в такой-то дождь, осподи, хоть бы чего не случилось с ним. И самовар-то пропади пропадом. Наверное, в деревню к Парамону убег, знает несыть, что там его не трону, поостерегусь. Но я все равно тебя достану. А будто когда и трогала, пальцем не задела, может, то и плохо, что не задела, вот и разбаловала».

Сбегала в Вазицу, там про Акимку не слыхали, уже в потемни, разбрызгивая грязь, воротилась на хутор. Еще издали, с тропы высматривала с надеждой, что Акимко вернулся в избу, сейчас запалил светильничек, и окна живут светом. Но мрачно таилась изба, и от этой всеобщей тьмы, от гудящего после дождя леса, низко плывущих туч над головой, похожих на мокрую мешковину, так стало Нюре *одиноко и горько, что впору было завыть* волчицей. Вот все и сбылось, как думалось... Вот и исполнилось то, чего страшилась. Не свое — не удержишь.

Вбежала в избу, запалила сальничек и сразу поймала охотничьим взглядом, что рушник на хлебнице сбит в сторону и доброй краюхи нет в ней. И отлегло от сердца, заулыбалась, стала думать и предполагать, куда скрылся этот вертопрах. С фонарем полезла на подволок, даже не окликая и скрадывая свет рукавом пальтюхи. И сразу услыхала, как в дальний угол, где хранились прошлогодние венники, метнулся кто-то, тяжело прогибая половицы.

В тот вечер Нюра впервые отлупцевала сына, ревела в голос, как белуга, от слез опухла, но и крестила Акимку кожаной опояской, не щадя: «Пошто таишься, ты скажи, пошто от мамки таишься? Не смей боле так... Ты слышь, крапивно семя?» Потом обжала сына коленями, пригнула его ушастую большую голову к груди, гладила ершистые волосы, чувствуя, как отмякает сердце, а страх утекает, просачивается в самую глубь души и затаивается в ней до следующего раза. «Ты не прячься больше, Акимушко, ладно? Не вводи мамку в горе. Больно попало, да? Вот видишь, нельзя мамку обижать. Затаишься так, а леший тебя и не отдаст мне.

Самовар, он что, бог с ним, с самоваром-то, из чугунка напьемся, правда? Ну вот, не реви, голубеюшко, свет ты мой единственный, глупый ты мой, от мамки таишься. Разве можно так от мамки таиться...»

А уж в другой раз чуть сама не погубила парня. «Каждому своя судьба поставлена, от судьбы не спрячешься, а он, знать, чуял что»,— задним числом размышляла Нюра, когда и эта история припомнилась. В начале ноября, когда снегу еще не надуло и промышляли с сыном без лыж, случайно наткнулись на лесного быка. Нюра рассмотрела его в прогале меж ветвей в невысоком подлеске, зарядила ружье пулей, обошла с подветренной стороны и выстрелила, но, видно, дрогнула рука, и пришлась пуля зверю под лопатку. Матерый лось, роняя кровавую пену с губ, почему-то не кинулся на Нюру, а двинулся к мальчишке, угрозливо креня рогатую голову. Парень вжался спиной в осину, нож выдернул из-за голенища, сам тонкий, как ивовая ветвь. Нюра в кожаный мешочек полезла торопливо, где хранился огневой припас, а там пусто: к дому шли с долгого промысла.

Разве можно забыть тот день? Пока бог не даст смерти, не выкинуть те мгновения из памяти, когда Питерка поначалу вроде бы закаменела, зальдилась, а потом страх за сына из глубин души прорвался в сознание и захлестнул его: этот страх сорвал охотницу с места и погнал к обезумевшему лосю. Так схлестнулись две судьбы, две жизни. Запаленный любовью лось еще мгновение назад отдыхал в осиннике, уставший от страсти, и в глазах его мерцала горячая краснина уплывающего желания, но кровь, наверное, уже вспыхивала заново, и лось, подзывая подругу томительными стонами, повернул лобастую голову. Бык только на мгновение потерял осторожность и тут же получил под лопатку пулю.

Впереди себя лось увидал другого маломощного самца и, подозревая в нем соперника, который хочет отнять у него подругу и запоздалую любовь, двинулся навстречу, горячась от боли. Перед быком стоял жалкий двуногий зверь, от которого исходил неприятный, пугающий и озлобляющий запах, а для Нюры же там, под деревом, собрался в решительный комок ее сын, двенадцатилетний мальчишка с ножом в руке, ее отросток, ее боль, ее единственный жизненный смысл. И, замахиваясь топором, Нюра завыла что-то дикое, завопила на самом пределе голоса, не слыша его, а лось, нацеленный лопастью рога на жертву, от внезапного крика словно бы очнулся и, встав на дыбы, прянул в сторону. Потом еще раздался запоздалый топот и хруст кустов: это уходила следом лосиха.

Тем же вечером, еще полностью не придя в себя, Нюра скатала новые пули и наутро с сыном пошла по следу лося. Питерка была тогда молода и потому не все понимала в природе, посреди которой жила, но по опыту минувшей жизни чувствовала, что тайга любит милосердных людей, и сама, от рода своего добрая и совестливая по натуре, сейчас нещадно винила себя за этот грех. Но сыну Питерка не признавалась в своей ошибке и бормотала вполголоса: «Чтой-то поздно залюбил, лешак сохатый. Нет бы куда подале деться, так встал на дороге».

К исходу предзимнего дня они нашли лося, он уже не мог стоять и потому неловко обвалился на колени. Нюра еще издали увидела, как устало повернул лось тяжелую вислогубую голову и даже не попробовал подняться. Зверь умирал, и, чтобы кончить его страдания, охотница добила пулей, и, может, тогда впервые в ней проснулась суеверная мысль: «Бог упредил за жадность. Не наказал, но упредил...»

А сейчас, на исходе жизни, было время продумать пережитое, и Нюра с болью размышляла: «Неужели человек создан только едоком? Но зачем тогда ему голова дадена? У волка нету разума, заяц — тот вовсе глупый, и только человеку положено все. Знать, природа, мати наша всеобщая, породила поначалу зверя всякого и рыбу, потом мошку и пакость да птицу, а после уж человека. Но ежели первые детки для всего миру строятся, то последний — для матери, для сохранения ее покоя. Может, и задуманы были люди как хранители матери единой, а получились едоки-дармоеды. Ошибка вышла?.. Если по жадности, так все можно переесть, разом скушать, ведь эстолько людей на миру, каждого прокормить надо, да каждый только больше давай, все разом потребить хотят — и лес, и зверя, и воду, осподи! Через ту жадность и войнам нет числа. Ведь когда сын за матерью не приглядывает, говорят про него, он нехристь, сукин сын он, и люди плюют в его след... Разве люди сами на себя плюнут? Ежели плюнешь, то и оттираться надо, тут-то и увидишь, сколь черен и грешен внутри, а соскребать эту грязь — и веком не соскрести... Многое мне открылось нынче, многое. А доверься людям, скажи — засмеют: Нюра Питерка глупа, совсем оглупела в своем лесу. Может, и глупа Нюра, только многое открылось. Они-то колготятся в суете да все спешат куда-то, им некогда посидеть, подумать во спокое...»

Самоварчик скипел, дал о себе знать тонким посвистом, затащила его Нюра на стол, села подле: одна-одинешенька, вроде и привыкла к сиротству, а все кажется, что будто ранее, когда с сыном жила, то и чай куда вкуснее был. Самоварчику что, его и время не берет, сияет тремя медалями, выставил на Нюру свой желтый пузень, нахохлился краником. Помнится старой: немного погодя стащила посудину в деревню ко Клавдейке Заручейному, тот и направил самовар, правда, краник неловко встал на место. Самоварчику-то жизнь наново вдохнул мужик, а я вот сыночка не уберегла...

Тогда она тупо посмотрела на черный иордан, в котором плавал битый лед, и повернула лыжи обратно в хутор. Душа ее не растопилась от увиденного, нет, но куда-то отодвинулось постороннее беспокойство, которое мешало думать о сыне: все-таки Нюре было неуютно при мысли, что придется поднимать ружье на человека, пусть и зверину, тать разбойную, и сейчас, когда все свершилось само собой, ее мстительное удовольствие даже чуть смягчило внутреннюю закаменелую боль.

Внезапно представилось, что сейчас сына хватились на деревне, его разыскивают, значит, должны вот-вот подкатить на хутор. Потому она деловито поторопилась прибежать к дому и, словно бы сомневаясь в смерти сына, открыла горенку и, не входя в нее, заглянула в постоянный студеный мрак: Аким лежал на лавке ногами к двери и новые черные валенки мешали смотреть на его лицо, казались непомерно большими. Тут спокойно подумалось, что сейчас придут люди, закатят сына в розвальни и, покрыв с головою оленьей полостью, увезут от Нюры в деревню, повалят в избе-читальне на казенном столе и будут толпиться около, глазеть на удушенное черное лицо, молоть вздор, и она, мать, окажется лишней там и ненужной. Но куда денешься, решила покорно, отдать придется, все-таки на вышине числился, над людьми верховодил, пусть простятся, но и в таком виде стыдно выказывать, обмыть бы поспеть да приодеть.

Питерка закрыла горенку на висячий замок и вернулась в избу, там опустилась на пол подле громоздкого сундука, покрытого цинковой жестью. И только приготовилась открыть пахнущее нафталином и киселью застарелое житье с немудрящим обзаведением, как на заулке загремело, забрякало, кто-то хохотал, пиная мерзлые ступеньки заколелыми валенками, потом тут же, сбоку, приткнувшись к ободверине, освобождался от застоявшейся лишней воды. Нюра живо вскочила, сбивая на плечи шапку, продышала в боковом стеколке глазок и того, кто мочился, узнала по городской пальтюхе с каракулевым воротником и кривым ногам, засунутым в бурки. «Не мог Афоня Путко за угол-то встать, жеребец такой. Двери-то мне приморозит»,— отрешенно подумала она про Афанасия Мишукова, которого на деревне и не звали иначе, как Афоня Путко.

Он вошел, у порога смял в кулак пыжиковую шапку, и болотного цвета глаза сразу настороженно прошлись по избе: по их назойливому вниманию и легкому шальному блеску поняла Нюра, что Путко уже под хмельком. «Дня не пройдет, зараза, чтобы не выпить. Недаром по деревне поют: «До чего ты, Путко, допил, до чего ты догулял, посреди широкой улицы магазин обо...ал».

Следом вошел милиционер Ваня Тяпуев, бровастый, носатый парнишка с детским румянцем на квадратном лице, в овчинной белой шубе до пят. В дверях, наверное, ему стоять было неловко, качнулся вперед, предупредительно касаясь рукой спины Мишукова и подталкивая его в передний угол: «Афанасий Иванович, присядем на данный момент времени».

Мишуков прошел в передний угол и сел под образа, оглаживая седые виски, а милиционер прислонился к ободверине да так и остался там, похлестывая по шубе витой ременкой. Гости ни о чем не спрашивали, и Нюра отчего-то помалкивала, таилась, полуотвернувшись к оконцу, оскребая ногтем наледь.

— Вот так, значит, ишь ты,— протянул Мишуков и снова ничего не спросил, а Нюре было душно и тяжело, так томительно тяжело, словно впервые подумалось, что сына нет насовсем — не вышел на двор или в лес на путик и даже не уехал на жуткую войну — он каменно лежит в боковушке под замком, и его вовсе, навсегда не стало. «Спрашивали бы, что ли, да и забирали Екимушку, чего мучить меня»,— подумала сдавленно, испуганно озираясь. «Осподи, ведь все, и жить-то закоим, а?»

Но Нюра сдержала вопль и ничем не выдала своего горя.

— Да, вот так-то,— снова подозрительно процедил Афоня, устало разминая ладонью затекшее лицо... Вспомнилось: только Мишка Крень выметнулся озверелый из чума Прошки Явтысого, угнал упряжку в деревню, так и пошло-покатилось гулеванье: пили до озверения, до бесстыдства; полного обнажения и освобождения души.

«Ловко, я, а?.. Затравил сволочугу. Как он живца-то моего хап. «Из-бу за-бра-ли, а я жениться хо-чу»,— передразнил Мишуков Мишку Креня. — Сволочь, змеенышей плодить. Под корень их».

«Ты, Афоня, мудрая. Лиса ты,— соглашался ненец. — Хошь моя женка? Э-э-э... Моя женка скусней теленка, хах-хы. К тебе приеду, твой баба — мой баба».

«Сволочь ты, Прошка, сволочь. И все вы сволочи,— вдруг заплакал Афоня Мишуков слезой откровенной и горькой, по-ребячьи облизывая губы. — Как они батьку моего секли, хамло, вылюдье. Посреди улицы секли, голышом раздели и секли крапивой... А ты, Проша, человек, хоть и самоедина косоглазая, лопата и век не моешься, но человек, дай я тебя расцелую. Тьфу, зараза, табачину жрешь, што ли? — сплюнул Афоня, на миг трезвея. — Я их всех... У-у-у, я им такую кузькину мать устрою за батю моего согласно текущего момента».

Потом уж мало чего осталось в памяти у Афони: помнилось лишь смутно, как хозяин чума таскал молодую жену за косы, вдруг приревновал к гостю, а Мишуков отнимал, хватая Прошку за руки, отыскивал горло...

— Мишка Крень не проезжал тут? — спросил Нюру от порога милиционер.

— Нет, а чего?

— Да так, согласно политического момента, значится, контра он...

— Нет, нет, никого не было,— внезапно соврала Нюра. Напротив сидел Афоня Мишуков и сквозил ее налитыми розовыми глазами, и порой, отрывисто, мельком взглядывая на мужика, Питерка наполнялась новым, идущим из угла страхом. Ей стало жутко лишь от мысли, что Путко начнет разбираться во всем, что случилось, щупать холодными рыбьими глазищами, а потом и обвинит, долго ли ему, а у Нюры свидетелей нет, докажи поди, если Мишка Крень на дне Кутяевки. «И выйдет так, что я своими руками да сына своего Екимушку, вот где изгиление будет, сколько позору-то на мою голову да на весь наш род».

«...Ну чего, чего глазами зыришь?» — подумала с нарастающим злом и, чтобы не выдать своих чувств, вскочила, побежала к запечью, также молча потащила на подставку самовар... «Вот этот толстомордый Путко, все он, оборотень. И отец таков же был, хотел на людской слезе нажиться, думал честной народ облукавить. В будню и поганить можно нашего брата, и на шее сидеть, а в праздню, как душа взыграла, тут уж не тронь — из собственной шкуры наизнанку, только дай забыться. А Ваня Путко всю водку скупил в монопольке и решил на съезжем празднике нажиться, думал, знать, мужики загуляют, им тогда и море по колено, а я у их денежку и высосу. Мужики с пьяного гнева да про все узнавши и всыпали крапивой по голой заднице, да прилюдно, на площади, напротив хлебной лавки уделали, заголили и всыпали. Вот и поделом, вот и поделом... Так от великого бесчестья и умер мужик.

...У-у, толста харя, расселся, еще и ворота мне приморозил кастью своей. Не откроюсь, не знаю ништо. Пусть думают, што хотят, а не отдам им сына на изгиление. Не откроюсь — и все, мой он и ничей боле».

— А мы вот запопутьем зашли проведать,— нарушил молчание Мишуков. — Поехали в Инцы, подумали, как тут наша тетя Нюра поживает?.. Сына-то еще не было?

— Нет-нет,— торопливо отказалась Питерка, замирая и холодея нутром. Мелькнуло в голове: «Вот и допрос, вот и началось. Осподи, дай силы выстоять».

— Буде скоро. Он-то поране нас выфурнул на лыжах, только снег завился,— сказал, отворотясь, Мишуков. — С нами на лошадке не захотел,— добавил он, заминая разговор.

Гости двинулись к выходу, еще потоптались в сумеречных сенцах, Мишуков пошарил взглядом и даже потрогал на двери увесистый замок. «Амбарная сучка...» — зачем-то сказал он и дохнул на Нюру вонью хмельного перегара и махры.

Потом Питерка еще недолго стояла в сенцах, слышала кряхтенье ступенек под грузным телом Мишукова, по-мальчишески звонко, не тая голоса, спросил милиционер Ваня Тяпуев: «Куда начальство подевалось? Слышьте, Афанасий Иванович?..»

Нюра насторожилась, но ответа не расслышала, видно, мужики вышли со двора.

Вечером она обмыла сына, надела на него красную косоворотку и суконный пиджак, сложила руки на груди, перевязала ниточкой пряжи, вставила восковую свечу.

Мрак, нет, скорее черный провал поглотил горенку, и чудилось, что мертвый Аким и мать его стоят на деревянном примосте посреди пустоты. Куда вознесет их, куда, в какую благодать? Слез не было, и не было облегчения. Однажды Нюра поймала себя на жуткой мысли, что словно бы постоянно ждала сыновней смерти. Она так боялась за него в течение стольких лет, что невольно ждала беды. «Осподи, чужое не удержишь. Сквозь пальцы протечет. Кренъ дал — Крень взял... Нет-нет,— тут же возмутилась ее душа. — Мой это сын».

Нюра читала Псалтырь тупо, не слыша и не понимая своих слов. Свеча обтаивала на скрещенные кисти рук, и ей все казалось, что сыну больно от плавленного воска...

— Мама, почему промеж людей радости мало? — спросил он однажды, еще до германской войны.

— Заботы о хлебе насущном гнетут, сынушка...

— Тогда бы хорошо долго не ись. Раз поел, а потом бы играй все да играй.

— Глупенький...

— Я в море хочу с дядей Парамоном. Там светло, а тут дико. Что ты нашла в своем лесу?

— Глупенький, утонешь там. Тут земля под ногами. На земле-то и веры больше.

— А меня завидки берут. По морю куда хошь уедешь, на людей поглянешь.

— Не мели ерунды...

— Чего не мели, чего не мели?

— Сказала, не пущу к морю...

— А я с дядей Парамоном попрошусь.

— Уймись, с тобой говорить, что решетом воду носить.

А он подбежал вдруг, ластиться стал:

— Матушка, не бранись. Смехом ведь я. Ну охолонь.

Едва развиднелось, Нюра взяла лопату и пошла копать могилу. Она обрыла снег на дальнем мыску, на окраине речного наволока, хорошо видного из окон, приволокла на чунке дров и развела костер. Женщине все чудилось, что кто-то сейчас придет и заберет сына, потому она торопилась, жалея каждую минуту, а может, и душа ее, уставшая от непосильной тягости, заставляла лихорадиться и спешить, чтобы вместе с пóтом угнать неспокойные мысли и расплавить в груди горький ком. К вечеру Нюра вырыла могилу и, завернув сына в холстину, привезла на санках и предала земле. Вместо креста воткнула березовую тычку и с покойной, тупой заботой закидала снегом неровный следок земли.

В избе, скинув черный плат, подошла к зеркальцу, увидала желтое, словно бы костяное, лицо с заостренным носом и синими пятаками под глазами, белую, как куропачье крыло, голову. Это была не легкая проседь стареющей одинокой женщины и не первые сивые прядки на висках, которые рождаются от переживаний: Нюрина голова была словно облита молоком. Питерка тупо и удивленно вглядывалась в чужие, будто и не свои волосы, которые еще вчера отсвечивали тусклой медью.

Тут и пришло на память, как сын, давно ли будто, в прошлом месяце сказал: «Ну, матушка, ты у меня все словно молодая. Тебя и старость-то не долит».

— Вот тебе и не долит,— прошептала Нюра, осторожно касаясь ладонью волос. — Вот тебе и не долит, сынушка. За одну ночь сбелела, как молодой снежок.

И тут спасительные слезы прорвались и затопили Нюру, она повалилась на лавку и, стукаясь головой о белую скамью, запричитала в голос...

7

Так и не дождалась Нюра весточки от любви своей негасимой, от Семейки Нечаева, и через неделю, наверное, не сдержалась более и написала в Долгую Щелью новое письмо. Наскребла в печи на загнетке сажи, развела водой и долго корябала на бумаге загустевшим пером, оставшимся еще от Акима:

«Дорогой Семеюшко да жена твоя Паладья да все чады. С поклоном низким и по привету Нюра Питерка с Вазицы, забыл нека? Пошто тогда молчишь, дьявол эдакий? У миня все хорошо промысел тоже хороший. Птицы-зверя нынче дивно да плоха я стала на глаза зренье вовсе подводить стало. Помнишь ли ты меня Семеюшко как мы с тобой гуляли миловались. Женке-то не сказывай чего ли на худое подумат да и в глаза-то нахаркает, наше племя тако. Осподи, Семеюшко, жисть прошла, а будто и не живали. Я то нынь совсем плоха развалюха от ветра поносит. А ты в очию у меня так и стоишь, все молодой старопрежний и часто помню тебя...»

Писала Нюра на какой-то накладной, где в столбик было красивым почерком завито: мука аржаная — четыре пуд, пороху — две пачки, кастрюля малирована — одна, капканы первого нумера — десять штук — и еще чего-то по хозяйству, что брала когда-то охотница в рыбкоопе еще перед войной.

Старые сиреневые чернила выцвели, и Нюра по ним сажей навела свою огороду, развела писемушко на весь лист.

Потом в деревню стала собираться, задумала родню навестить, а заодно и весточку кинуть в почтовый ящик. В лузан пехнула шесть куропаток: три птицы невестке Анисье да три — золовке Калистве. Подумала, кинь добро назад, оно попереди очутится. Добро-то сделаешь, дак всем сладко, все когда ли помянут мирным словом...

В деревню Питерка заявилась ближе к полудню. Побережник принес с моря мелкую порошу, и Вазица сразу омрачилась ликом, огрузла в сугробы. Война прошла где-то далеко, за тридевять земель отсюда, но деревня так осиротилась, словно мор великий прошел по ней: редкий человек спешил своей дорогой, зябко запахнувшись в пальтюху, и, будто испугавшись простора и вольного воздуха, тут же юркал в избу.

Что и говорить, многих мужиков, почитай что и всех (за малым исключением), подкосил германец, а девки, что постарше, спасаясь от стародевья и голодухи, разъехались по всей России искать счастья и уцелевших погодков, как-то мигом разбежались, покинув вдовых матерей и совсем запустошив родные гнездовья. Они, правда, еще не рушились, даже были приглядны внешне, и ситцевые занавесочки в синий горошек красили подслеповатые оконца: но по тому, как осунулись поветные ворота, а заулок не истоптан лошадиной ногой, и тропка-то завязана сиротски узенькая, на скромную бабью ногу, видно было, что печищан одолевало запустение. Но пока сражалась деревенька, оборонялась от запустения, как могла, словно стыдно было ей перед мужиками, павшими на чужбине, еще оконца глядели без дощатых повязок — крест-накрест — и в главном уличном порядке светился лишь один прогал, заметный пустырь, закиданный снегами.

Здесь когда-то стояла хоромина Федора Креня, огромная изба на два жила с тремя летними горенками поверху.

Когда раскулачили Креня, то первое время внизу была сетевязка, а примерно через год перебрался в избу интернат. Нюра помнила этот дом до мельчайшей подробности. Когда Аким вдруг негаданно погиб, свекор Осип Усан увез сноху в свое житье, ведь Нюра, пожалуй, года два была словно бы не в своем уме. Она изо дня в день бездумно ходила сюда, к креневской избе, становилась напротив окон и смотрела стеклянными глазами, тупо распахнув рот. Знакомые бабы проходили мимо, окликивали Нюру, но, погруженная в себя, она не слышала посторонних голосов. Женки жалели Питерку, судачили меж собой: «Вовсе оглупела Нюра. Свезли бы не то куда в малишенный дом. А то и ей не житье, и свекру-то позора одна».

Нюра навязчиво, до туманного кружения в голове вглядывалась в верхние стеколки, где часто показывались детские головенки, и по цвету волос, по неясному пятну лица угадывала, который ее там сын. Ей все мерещилось, что Акимка еще ребенок и посещает школу, чтобы набраться грамоте, и сейчас он вымчит на улицу, к своей мамке, уткнется головенкой в подол, а Нюра будет гладить его непослушный вихор на затылке и томиться от радости. «Пойдем»,— скажет она сыну; и, встав на лыжи, они быстро закатятся в просторный, ровно гудящий лес и растворятся в нем.

Нюра так явственно представляла все, что, когда приходила золовка Калиства, чтобы увести горемычную домой, и трогала за рукав, Питерка пугливо вздрагивала и нехотя пробуждалась от сна, покорно шла следом, но еще долго крутила головой, высматривала сына. А однажды, где-то в середине сентября тридцать второго года, деревню разбудил пожар: горел интернат. Дети прыгали со второго этажа в уличную грязь, учитель Ланин бегал вокруг с воспаленным от пожара лицом. Один мальчишка сломал ногу, и учитель унес его на руках в дом Парамона Петенбурга. В нижнем жиле выломали окна, кто-то из смельчаков забрался в избу и вытолкнул на улицу сомлевшую хозяйку Пелагею Креневу, но самого Федора Креня там не нашли.

Пока горело в самой избе и огонь не вымахнул наружу длинным языкатым пламенем, на улице было по-осеннему темно, и только в провалы окон выливался в черные лужи багровый живой свет. Мужики суетились с ведрами и топорами, но больше поглядывали на свои дома, толкая друг друга, пробовали подступиться к жилью и что-то спасти из добра. Но тут старинный сруб вспыхнул свечой, и гудящее пламя завилось в небе, раскидывая головни и искры: сразу стало так светло, что поначалу все ослепли, потом в стороне пронесся нелепый пугающий крик: «Федор по-весил-ся...»

Будто сегодня и случилось все, так явственно представила Нюра Федора Креня, его запрокинутую слегка голову с хмурой усмешкой на костяном лице, напряженные вытянутые ноги, обутые в рыбацкие бродни. Мужик висел в проеме дверей своей баньки лицом к избе. На лице шевелились малиновые отсветы пожара, и оно казалось живым, глаза в темных провалах устрашающе вспучились и пристально разглядывали людей, толпящихся на расстоянии.

Ваня Тяпуев обрезал веревку, и тело сползло на порожек. «У-у, кулацкий потрох»,— сказал он громко и ненавидяще.

— И Палагу-то чуть не сожег,— говорили в толпе.— Ведь детишка малая наверху, осподи. Все порушить хотел.— Эти слова пуще всякой агитации воспламенили толпу, она загорячилась, окружая распростертое мертвое тело.

— Че он, че он?—домогалась какая-то бабенка, прискочившая слишком поздно.— Во-во, довели старика. Не снес насилия, во гневе душа не ведает, что руки творят...

— Загунь,— оборвал кто-то.— Палагу-то под замок посадил да сожегчи хотел. Это-то как подвести под хорошее поведение?

Нюра слушала людские речи и не понимала их. Она глядела на желтый костяной череп Креня с налипшими банными листьями, на крохотное его личико и удивлялась, как такой маломощный и невзрачный человек мог выпустить на свет громадного и красивого парня... Еще минутами назад она с больным и надорванным сердцем в груди суетилась меж всеми, кого-то толкала, чего-то тащила и плескала в огонь, глаза ее, расширенные страхом, замечали только спасенных ребятишек. Нюра поочередно хватала их, тискала у груди, нервно оглаживала, пока посторонние руки, наверное, учителя Ланина, не вырывали от нее затисканного, очумевшего от пожара и криков мальчишку.

А сейчас она стояла возле Федора Креня, вернее, возле того, что было когда-то натуристым, диким по нраву человеком, глядела на его костяную голову, заляпанную пеплом и палыми банными листьями, и мучительно соображала что-то, и унимала беспокойство лихорадочной мысли.

Изба догорела и осыпалась золотыми угольями. Только тут заметили люди, что уже светает.

— Нет предела людскому гневу, но есть мера зла и отмщения, которую переступит лишь сатана,— сказал церковный староста Антипа Заозеров и ушел домой. И, оставив караульного выборщика возле пожарища, чтобы уголек случаем не упорхнул на соседнее жилье, разбрелись и остальные, замученно зевая.

Золовка Калиства пробовала увести Нюру, но та, на голову выше родственницы, раза два толкнула молчаливо, и женщина отступилась, ушла обряжаться по хозяйству. Остались еще племянница покойного — Лидка, скуластая безгрудая девчонка, да Ваня Тяпуев. Избач достал где-то грязную рогожу, завернул старика. Он еще не забыл недавнюю милицейскую должность и не знал, как решить: то ли отступиться от кулацкого потроха, то ли по старому служебному положению составить акт, а тело предать земле, ведь гад не гад, но по верху земли не кинешь. Ваня и злился на свое рвение — вон другие-то спят себе, от сна пухнут, а он тут уродуйся, как собака,— но и уйти не мог, вот так просто взять и уйти, завалиться на полати и прикорнуть до третьих петухов. Какая-то человечья пружинка иль совестливость удерживали его возле удавленника, а может, был Ваня просто человеком порядка... Но только он матерился про себя и, размахивая руками, то и дело бегал к дороге и обратно. Все чудилось, что сейчас кто-то явится всевластный и освободит его от мучений.

И пока Ваня Тяпуев размышлял, как поступить, Нюра примерилась к рогожному кулю и, легко взвалив на плечо, пошла по грядам, путаясь в картофельной ботве. Лидка, словно привязанная, не спросила ничего, послушно поплелась следом, роняя крупные слезы: ей вспомнилось, как Федор, бывало, приходил к ним, качал на коленях и одаривал гостинцами. У него тогда была пушистая поясная борода, и Лидка любила искаться в ней и гладить, а дядя щурился и повторял только: «Ну и лиса, ну и патрикеевна...» А нынче отец был на промысле, а мачеха не хватилась Лидки, видно, угорела на пожаре, и девчонка, опухшая от слез, все больше и больше жалела Федора Креня и почему-то себя.

Ваня Тяпуев ошалело заморгал глазами и, крича: «Эй ты, погоди-ко, вот глупая»,— побежал следом за Нюрой, пробовал остановить ее, хватаясь за хлястик пальтюхи. «Чего тебе, ну?»— коротко спросила Питерка.

— Давай хоть лошадь возьмем,— ответил парень вяло, тут же заминая в горле последнее слово, потому что представил вдруг, как придется идти в колхоз и выпрашивать эту лошадь да что-то объяснять, а тогда и вовсе станет светло, деревня проснется, и ему, избачу Ивану Тяпуеву, будет стыдно и невозможно ехать на телеге рядом с кулацким потрохом. И снова парень накалился душой, шепотом разбранил людей, которые разбежались по избам, хотя и сознавал, что такому удавленнику нет на деревне чести, ведь даже родственники отвернулись от него, а сын, Мишка Крень, пропал где-то, так и не сыскали, и жена Палага лежит в бесчувствии, не приходя в себя.

Ваня повернул к своему хлеву и взял заступ, а догнал странную похоронную процессию уже на затяжном подъеме к деревенскому кладбищу. На самый верх, в покойницкий городок заходить не стали, а решили копать яму обочь, под вересовым кустом. Избач ковырялся лопатой нехотя и ярился уже открыто.

— Кулацкий потрох,— повторял он любимое словечко,— зараза фараоновская, нечистая сила, возись тут с ним. Спустить бы куда с камнем на шее, чтобы не портил наш советский воздух.

— Уймись, щенок... Добро творишь, дак не касти пропащего человека,— прикрикнула Нюра и отобрала у Вани заступ. Парень пробовал хорохориться и выставлять узкую грудь, но женщина его не слушала, а стала мерно углубляться в землю, словно зарывала себя. Ваня сел поодаль, сплевывал под ноги и ревниво следил за Питеркой.

— Ну хватит, не генерал... Сойдет и так.

Они опустили рогожу с Федором Кренем в яму и зарыли ее, оставив под вересовым кустом крохотный холмик, который вскоре порастет мхом и ягодником и станет обыкновенной болотной кочкой.

Лидка упала на могилу и заревела навзрыд, по-щенячьи царапая землю. Нюра еще постояла возле, сказала только негромко: «Ну вот и все»,— оторвала девчонку с торфяного холмика и повела за собой.

Ваня Тяпуев очистил лопату от земли и направился сначала следом за бабой и девчонкой, но потом словно бы устыдился чего и свернул наискосок к реке, а уж оттуда берегом выбрался к своей избе.

«Ну вот и все»,— повторяла Нюра облегченно, прижимая девчонку к себе и чувствуя ее хрупкое плечико. Ей хотелось бы поплакать, но она стеснялась Лидки, а может, не осмелилась бередить ее и потому крепила слезу в себе. В тот же день Питерка ушла в лес на свой хутор, чтобы теперь лишь изредка появляться в деревне...

«Напасть какая заведется, ведь выточит всю семью,— подумала Нюра, вспоминая Креней.— Будто громовержец прокатил тогда. Многих выкосил, а род не выкосил. Такой род разве сполна выведешь? Было, остерегались друг к дружке гоститься, а нынь как повернулось... Аниська-то племянница будет Федору Креневу, а за моим племянником Мартыном теперь — и живут, как голубки, не разлей вода. Разве род человеческий выкосишь? Где ли да отзовется...»

Нюра опустила письмо в почтовый ящик. В хлебную лавку хотелось бы заодно, но уж не попала, опоздала, закрылась та на обед, и потому решила старуха привернуть за мяконьким хлебцем на обратном пути. Еще помялась нерешительно посреди дороги, примеряясь мысленно, куда ловчее двинуть: то ли к невестке Анисье, то ли на низ улицы к золовке Калистве. Но лыжи все-таки повернула по льдистому склону улицы и покатилась к золовке.

Калиства, как всегда, сидела у окна и навстречу не поднялась, а только повернула рыхлое водянистое лицо, размытое серыми сумерками. Лампадка у божницы горела тускло и едва проясняла пыльные иконы, забранные в дешевые жестяные оклады. Не ожидая приглашения, Нюра прошла в передний угол и села подле Калиствы, сердобольно вглядываясь в тусклое лицо.

— Больна, што ли? — спросила, однако, резко, тая жалость в душе и не выказывая ее. Золовка только пожала широкими оплывшими плечами.

— Опустилась-то вся... Ты, девка, прибери себя к рукам. Ишо не старая ведь. Ты что это, а? — накаляя голос, внушала Нюра.— Войне уж когда замирение, а ты все будто тамотки.

— А за коим теперь и жить? — тускло спросила Калиства, вернее, сказала вяло, но с настойчивым и решенным в душе желанием.— По жизни, дак будто век прожит.

— Это не тебе решать, да... Ты что это постановила? Ну сказывай,— гремела Нюра, но добиться чего-то разумного было трудно теперь от золовки, и невольно понизила голос: — Уф, парко у тебя. Я тоже намедни едва не околела. Да не суждено, знать, не мое время.

— Ни мужика, ни деточек, всех война забрала... Ну а ты-то как там? — равнодушно спросила Калиства, насильно отвлекаясь от постоянных раздумий.— И не скучно тебе в леси да одной?

— Какая, к лешему, скука? Летом травку сбираю, осенью ягоды, грибы ломаю, зимою опять зверя-птицу добываю. Из лесу-то и не вышел бы, так хорошо в ем.

— А без людей все одно не можешь,— раздраженно уколола Калиства, желая хоть чем-то ущемить Нюру, чтобы она горемычно заслезилась.

— Не могу,— согласно кивнула Питерка.— Раньше могла, а нынче не могу. Люди-то всё в мыслях нынь, и никак не отвяжешься.

— Осподи, каждый надрывается. Товарищ-то Сталин небось с войны надорвался. Тоже женочонка, детишки есть, ревут, татку всем жалко... Ой, Нюрушка, хоть бы одного сыночка бог сохранил мне! — Калиства заплакала неожиданно, но тут же засморкалась в передник и снова померкла, остыла, ушла в себя, что-то шевеля губами и забывая мгновенные слезы.

— А на што тебе Сталин-то дался? — снова вернулась Нюра к прежнему разговору, чтобы вывести золовку из забытья.

— Я об том, что детишки-то небось остались, ревут. Да-а... Сына твоего, Акимку, в том годе так и не нашли? Поди, сбег куда, сокрылся? — тускло спросила Калиства.

— Ты что, Каля... Ты чего мелешь-то? — растерялась Питерка. Недоуменная обида охватила старуху, но она сдержалась, не высказала затаенное, сломала гнев, только длинное лицо ее напряглось, и дольные морщины на щеках нервно заглубились. «Ой дура, ну и дура Калька»,— подумала Нюра, не зная от растерянности, какое слово схватить, чтобы оно к месту пришлось и пристыдило золовку. Но ничего не придумала и корить не стала Калиству, но пристально гляделась в нее долгим запоминающим взглядом.

— Я тебе тут куроптя принесла. Поешь дичинки...

Достала из лузана три птицы, мерзлые, с угольно-черными полуоткрытыми глазами, глядящими из-за поджатого крыла, кинула на стол, и куропти каменно стукнулись о доски. Потом, не прощаясь, пошла на выход, а Калиства вдруг кинулась следом, захватила подол малицы, запричитала жалобно и просяще:

— Прости меня, Нюрушка. Сглупа на худое мелю. Не кидай меня. Одна ты у меня надея. Ты придешь еще? Ну скажи чего ли, не томи...

— Ну буде, буде, ну што ты. Прибери себя к рукам. Как не навестить-то, осподи.— Порылась в лузане, достала еще трех куропаток, положила на табурет возле порога.— Аниське метила, хотела угостить, ну да ладно. У ей самой мужик охотник.

Сказала сурово, неотмякшим голосом и пошла прочь из избы.

8

Письмоноска доставила весточку в конце марта, а запопутьем еще передала просьбу Тони Капшаковой: та слезно просила Питерку прийти и помять в бане спину, скрючило так, что ни встать, ни сесть. Нюра пообещала навестить Тоньку, на слова письмоноски, рябой басовитой девки, только кивала согласно головой и поддакивала, а сама неотступно крутила треугольник из серой оберточной бумаги, залепленный хлебным мякишем, и не могла понять, откуда письмо, потому что обратного адреса не было. Когда почтальонка ушла, Нюра вскрыла треугольник, глянула сразу в дальний конец бумаги и прочитала надпись: Нечаевы...

Письмо было накарябано химическим карандашом на плохой бумаге, и потому Нюра проглядела его с трудом, по слогам, часто запинаясь и мучительно морщась, пока не доходя до смысла:

«...Ты ведь старая старуха, дак не сходи с ума людей не смеши. Ведь когда овдовела ты мужику моему тринадцатый годок шел. А ты чего пишешь, чего пишешь, страшна кокора. Ежели рехнулась дак лечиться надо вот какие мои слова будут. К фершалу сходить надо он припарки поставит на одно место или в сумашедший дом, вот. Мужика отбивать а мужик уж сколькой месяц с постели не встает...»

Нюра одолела письмо и сначала засмеялась тоненько, а потом всхлипнула и заплакала, часто повторяя: «Ой глупа же баба, чего надумала. Мужика отбивать... Эко про меня подумала. А мне то и нать, что весточку, доброе слово получить откуда из далеких краев. А может, и взаболь я чего не так написала?»

Долго сидела Питерка, качая большой седой головой, вспоминала с натугой свое письмо к Семейке Нечаеву, но оно забылось начисто и никак не приходило на ум. Весь вечер старуха горевала, что поступила неладно и теперь люди держат на нее сердце. Несколько раз Нюра приглядывалась к снимку в коричневой рамке, испятнанной жучком-древоточцем, но Семейка не менялся, все так же пучил и строжил глаза, но становился вроде бы чужее и чужее.

«...А чего было-то, осподи, ничего и не было,— оправдывалась Нюра, словно испугавшись письма.— Ну прижал к груди, что истомно стало; свой мужик, Лешка Губан, так вот ни разу не приласкал, все будто дрова колол, когда любить начнет, всю истреплет до синяков. А тут и дела-то всего, что словно бы ненароком притиснул Семейко в темных сенях, побаловался, а у нее и сердце сначала захолонуло, потом расперло его от счастья во всю грудь, и, словно глупая овечка, побежала бы без привязки следом куда угодно. Только и радости еще было, что с крылечка махнула вдогон. Он-то и забыл сразу, на телегу сел, хмельной да пьяный, заорал что-то под гармошку, все закрутилось тут. И забыл он Нюру, а ей вот и поныне помнится. Столько-то, значит, и отпущено любви, осподи-осподи. Ой, глупа баба была: уж вдовела, а еще хранила себя, совестилась. От своей любви не взяла...»

Весь вечер сама не своя бродила по избе Нюра. А к самой ночи вдруг холодно показалось — затопила нанову печь и чугунок с картошкой сунула на огонь. И сразу из глубины памяти просочилась крохотная подробность о сыне: где-то застряла она в дальних закрайках и никогда не вспоминалась раньше, а тут вот, пока мыла картошку, шершавя ладони, готовно и выпятилась памятка, словно специально хранилась для такого случая, чтобы смягчить чуть Нюрино одиночество.

В семнадцатом году было: уехал Аким с дядей на осеннюю маргаритинскую ярмарку в Архангельск. Уж как не хотела отпускать сына, но не смогла удержать, и вот вернулся Парамон один. Спросила сначала легко, без душевной тревоги: «Утерял сына моего?» Думала, тот где-то затаился на повети, чтобы насмешить. А брат и сказал: «В моряки Акимко записался, к прибегищу посуду водоплавающую пристегивать».

«Не мели глупостей, слышь?» Все думала — шутит, сердцем не слышала сыновней измены.

А вернулся сын уже в двадцать втором году, заматерелый, головой под притолку, широконосый и глазастый, плечи обтянуты кожаной курткой... Так и не снял с себя, пока не сгинул, эту шкуру, осподи, было бы чем красоваться. Молчаливый вернулся, уж лишнего слова не обронит. Спросила только, мол, Акимушко, а как дале-то жить будем, народ боле весь оголодал. А он: «Голодно, матерь, верю, что голодно, надо еще поясок потуже затянуть и работать. Только бы эти годы пережить, а там и на хорошее потянет».

Так и погинул, осподи, хорошего не дождался. Спать-то ложился в тотамкий раз, как приехал, то говорит: мама, свари мне картошки в мундире. Веком этого не слыхала, что за картоха в мундире, всю ночь мучилась. Переживала, хотела Акиму угодить. А может, и не столько из-за картохи этой, сколько из-за сына: все молчит, будто воды в рот набрал.

Помнится: нет-нет да и прянет она с кровати, на ступешку привстанет, чтобы на сына глянуть. Тот распластался на полатях на медвежьей шкуре, лицом вниз спит, будто мертвый. На голом плече яма от пули, ей ли, охотнице, не знать, от чего случаются такие рваные метины. И на ногу что-то хромает, небось и там яма от пули...

Медведя-то этого вместях и добыли. Сыну, поди, годков тринадцать было, ну да, ну да, около этого, уж в баню стеснялся со мной ходить: совсем оформился. Пошли-то на белку, а Вопко, задорный такой песик был, выглядел берлогу у речки Волтомы. А Нюра тогда суеверная была: «Кышь,— сказала,— Вопко, нету здесь медведя, и ничего нету»,— и отогнала собаку, чтобы не пахло от нее.

Сыну дробовку дала с пулей. Свалила дерево поодаль и устье-то закрестила здоровенными еловыми чураками, потом Акимко залез на берлог и сводто прободал вицей да и стал, значит, шерсть звериное на вицу наматывать да дергать, наматывать да дергать. Вот внутрях-то и запоуркивало, заходил зверь ходуном. Сама-то к устью стала, с топором изготовилась. Медведко, такой живот, ой-ой, полез только,

она и тяпнула его по башке со всего разворота. Только хресть... А медведко лезет, потом на подочвы встал, страх божий — такая колокольня, но сын хорошо его стрельнул, догнал пулей. Так и стряслась земля, как плашмя-то пал.

Акимко еще дурачок был, только ростиком велик, а ум-то детский совсем. Говорит: «Мама, хочу берлог глянуть, как они там житье обустраивают». На карачки-то встал, дак только и успела едва отдернуть мальчишку, как взревело тяжко, и фуфырнул еще один пестун. Да так дунул в тайгу, только сгрохотало. Вот, говорю, сынок, впредь наука: не суйся, куда не велено, в каждую щель нос не пехай — отдавят... Сколько уж годов прошло с того дня, уж и шкуру-то больно хорошо моль поела, а выбрасывать жалко, такая она памятная.

Всю ночь тогда маялась: на шкуру посмотрит — прослезится, на сына глянет — того пуще реветь. Так и не сомкнула глаз, потом и печь разживила, сварила чугун картошки в кожуре, как каждодневно в этих местах готовят, на стол подала. Сказала, робея: «Уж не обессудь, сынок, я по-простому картоху сварила, с кожухой, а в мундире не знаю как». Уж посмеялся тогда сын, так ли посмеялся: «Это и есть в мундире. Ой, мамка, отчудила».

Такая житейская подробность всплыла из забытых уголков памяти и заново высветлила сына. Подумала: «Ой уж смелой и честён был, чужого кусочка изо рта не выдрал. Боженька, и пошто такому-то парню житья не дал? Ведь таким бы и жить только да красоваться». Спала Нюра хлопотно, все куда-то бежала и спешила, порой в самом сне вдруг пугалась, вспоминая, что под самую ночь топила печь и как бы не угореть, не захалеть ей, вот надо бы пересилить себя и встать, открыть трубу, а потом это опасение сменялось другим видением: будто она на берегу лесного ручья, и видно ей с берега, как живо и плавно колеблют хвостами большие серебряные харюса. Нюра хватает одного, другого за жабры, чувствуя упругое прикосновение рыбы, но она незаметно и таинственно пропадает вдруг, и в ладонях остается лишь холодная паутина водорослей. Нюре страшно, тут и лес начинает реветь и раскачиваться гулко, какие-то чудища кругом выстали, вместо глаз уголья. Она бросилась бежать, запинаясь о замоховевшие колодины и едва унимая сердце. И вдруг очутилась в какой-то избе, полной народа. Нюра приглядывается к древним старухам в черных платках и никого не может признать. Кто-то шепчет в самое ухо: «Семейко Нечаев помер, Семейко Нечаев помер. Иди поцелуй в остатный раз».

И вот Питерка уже у гроба, но ей отчего-то видна лишь маленькая безволосая голова с желтым костяным черепом. И она, узнавая эту голову, хотела крикнуть, чтобы раскрыть обман: «Федька Крень, сотона!» — как тут же Нюру толкнули в плечо, она опрокинулась в черную гудящую бездну, закружилась, словно подбитая глухарка, с ужасом ожидая каменистого дна провала.

Тут Нюра пересилила себя и проснулась вся в поту, с гулко клокочущим сердцем. Всполошилась: «Свят, свят... Ой, не к добру видение. Знать, с Семейкой на плохое. Не зря баба звонная пишет, что сколькой уж месяц не встает». Тут Нюре сделалось невозможным лежать, лихорадка случилась с нею, но старуха, одолевая пока душевную трясуницу, еще полежала в кровати, уже представляя, как будет добираться до Семейкиной деревни, и как знать, не ее ли позвал нынче ночью старинный друг, а раз окликнул, явился во сне, то нельзя Питерке больше медлить. Значит, до Вазицы на лыжах скоротает, а от нее до Долгой Щельи чуть ли не каждый божий день обозы. Прихватят сироту, не кинут на полдороге.

Босиком по настывшему полу пробежала к сундуку, тут все Нюрино приданое, почти не надеванное, да и перед кем было хвастаться ей, все в лесу, а там нужно что потеплей да пострашней, чтобы о сучья не жалко было рвать да у кострищ палить. Уж не помнила, сколько раз распахивала Нюра дубовый сундук: вот разве как сына-покойника обряжала, потом в Мезень два раза возили на ударный слет, а последний раз — в День Победы. Считай, что четыре раза приставала к нарядам: тогда была полна-полнюща, а сейчас одно косье, да кожа тряпошная вовсе от позвонка отстала. Куда только все и девается...

Выбросила из сундука жакетку плюшевую, да сарафан старинного шелку, да рубашку плакальную тонкого льна с красными намышниками и долгими рукавами, да шаль с кистями и лазоревыми цветами по полю. Оделась, глянула на себя в зеркало, показалось оттуда черное морщинистое лицо с белыми водянистыми глазами. «Эко пугало,— подумала про себя,— теперь в таком-то наряде никто не выйдет в люди, собаки задерут. Недаром Аниськина девка меня Бабой Ягой кличет. Баба Яга, костяная нога...» — Запела хрипло, усмехнулась. Посмотрела на ворох обыденной одежды — рубаха холщовая до пят, брюки ватные с наколенниками да душегрея из собачины, шерсть клоками повылезла — и жалко стало привычного одеяния, словно бы кожу с себя сняла и кинула подле, а новая еще не пристала к костям, не прилегла. Тут жмет, там трет, здесь давит...

Но сердце томило Нюру и торопило ее. «Вдруг приеду и не застану, а он звал меня. Иль, может, обидела чем, вон какое письмо ругательное послали...» Собрала в дорогу харч, чтобы у людей не занимать, не ущемлять своими просьбами, потом две лисьи шкуры взяла, последнего нынешнего промысла, а в заготпушнину не сдала — не успела, подумала и еще достала с десяток куроптей, показалось, что скромный гостинец везет. О себе не вспомнила, как жить ей, может, еще сколько годов протянет, а лисья шкура денег стоит, тем более что нынче у Нюры каждая копеечка на счету. Какая была подкоплена денежка, вот так же по ветру ушла.

«Живой, дак выхожу... Ты только подожди меня, Семеюшко. Я доброе слово знаю, заговорное,— шептала Нюра, накидывая через голову поверх плюшевой жакетки старенькую малицу. — Ты не помирай только...»

1973

КРЫЛАТАЯ СЕРАФИМА

Из хроники поморской деревни

Светлой памяти
Раисы Ивановны Журавлевой

Кто даст судию между мною и тобою...
Аввакум

Вчера в Вазнцу пришло известие, что Хрисанф Малыгин умер. Наверное, всего с неделю назад хвалился он своею силой, пробовал гнуть сажную кочергу, а вывозившись в копоти, угрюмо оглядывал тщедушную супругу и с какой-то злой, настырной настойчивостью грозил, дескать, брошу тебя ко всем чертям, понеси тя леший да без возврату, надоело с тобой из одной миски щи хлебать, а возьму-ка я к себе в затулье бабу посвежей, с пуховой периной, благо старый конь борозды не портит. Говорил невнятно, не стыдясь гостей, словно бы кашу жевал, и темно мерцал закровяневшими глазами. Но супруга его, крылатая Серафима, лишь похохатывала, зажимая в себе слезу, и потирала сухонькие ладошки.

И вот с нарочным пришло известие, что умер Хрисанф Малыгин, по прозвищу Крень, кончился хлопотно и неловко для близких людей, хотя еще с неделю назад уверял всех, что у него два сердца и оба каменных.

Но представить трудно, что повалился в домовину под глухую крышу, словно бы для жизни бесконечной был назначен он: постоянно думалось при взгляде на мослатое неуклюжее тело, что никогда не иссякнет в нем неутомимая ходовая сила, не просохнет вечно хмельная и забубенная его душа, которой все трын-трава. А если подумать, то грозно все случилось, смешно и грозно, ибо из дому-то, как передавали, отправился Хрисанф в полной силе, думая порыбачить, достать свежины, и внучку за собой потянул. Так и видится, как лежал он в шалаше, подстерегая крайний сумрак, когда все в природе войдет в сонное оцепенение, изредка лениво, но жадно отхлебывая из бутылки, напряженно запрокидывая голову, и после что-то бормотал путано, словно бы кашу жевал, а внучка, свернувшись на травяной перине, проглядывала вторые сны, доверчивою щекою слыша и утреннюю свежесть реки, и зябкий шелест осинника, и невнятную дедову гугню. А сеть уже проверена, сапоги растянуты до рассох: негнучие, литые, они упираются в паха и все напоминают о близком заделье: вот-вот грянет самое время крадучись сунуться на кряжистый галечный берег, выпихнуть из кустов надувную резиновую лодку и заглубить снасть так ли хитро, чтобы и самому ловкому дозору не попасться. И, приканчивая бутылку, как бы закругляя одинокую трапезу, еще раз взболтнул остатки, ловчее запрокинул голову, натягивая морщинистую шею и упираясь локтем в травяной б[illegible] тут, наверное, просверлило мужика электрической искрой от темечка до мозолистой пятки, ожгло внезапной и оттого страшной болью, скружило каждую телесную жилу — и, захлебнувшись, разом споткнулось и умолкло сердце.

А внучка, когда все загудело на воле от птиц и мохнатых медуниц, отмякла ожидающей душой (ждала зова деда, дескать, собирайся, внуча, на промысел, сейчас в самый раз сеточку кинем) и особенно крепко уснула и в этом беспамятстве, отыскивая нахолодевшим телом покатый солнечный луч, почти вывалилась из шалаша под утреннее голубое сиянье, и тогда, наверное, в самую телесную глубь проникло солнце, душно нагрело кровь, ослепило, и девчонка проснулась, пока сонно завозилась на коленках, пытаясь уползти в тенистый сумрак шалаша и снова желанно уснуть. И тут она наткнулась на деда: он отчего-то неряшливо лежал на охапке травы, и странно — от него не тянуло махорным чадом, рыбой и костровой горечью. Он теперь не пахнул ничем, казался стылым и чужим.

И Аннушка, отчаявшись растолкать деда и наревевшись до дурноты, уже в полдень почуяла запах тлена, а испугавшись его, столкнула резиновую лодочку, пытаясь пробраться через протоку: да разве совладать с Курьей девятилетней малосильной девчонке, когда и взрослому-то мужику за великий труд дотянуться на гребях до родимого берега. Сколько-то, знать, помесила Анка крохотным веселком кофейной гущины прибылую воду, да разве столовой ложкой много почерпаешь, далеко ли подашься без сноровки, а после от горя и солнца быстро уморилась, отчаялась, сдалась крутой водяной силе, а там и охотно повлекло ее, потянуло из протоки прочь на речную крутую стрежь, стремительно опадающую к морю. Хорошо еще, ветра не случилось, хорошо, не затянуло на песчаную кошку иль каменистую коргу под берегом и не повернуло в кипящую витую струю: только ярая сила может выстоять против северной реки, полной горячего и страстного движения к морю. Значит, не судьба Аннушке тонуть в малых летах.

Рассказывают, уже под Березовым мысом подобрали ее случайные рыбаки и вернули к матери и бабе Серафиме, и, когда приехали из Слободы за Хрисанфом, надо лбом в сивой кудре уже червь загнездился и дурно пахло от мужика.

...Ну, случилось, пропал знакомый человек, но [illegible] кончается, уходит близких людей в мир

иной, с каждым днем пустеет вокруг меня обжитое пространство; но почему эта в общем-то посторонняя смерть так всколыхнула и заворожила?

«Он мучил ее, она мучила его, и мучили они друг друга».

Как-то там крылатая Серафима? Сколько раз, словно бы махнув на все и закаменев, проклинала она Хрисанфа: «Хоть бы сдохнуть тебе, паразит», и в страхе изумленно отпрядывала, точно ожидала смертного мужнего удара, сжималась вся в трепещущий комок, упрятывала голову в плечи, а не дождавшись страшного боя, тут же пугалась своей жестокости и саму себя казнила: «Типун мне на язык, как я могла такое сказать». Но Хрисанф это проклятие воспринимал молча, он словно бы не слышал его и только угрюмо бычился, пряча в столешню странно вспыхивающий взгляд.

Где-то там крылатая Серафима? Тычется, поди, в осиротевшие, полные тьмы углы, настораживается, косо задирая голову и слушая избу, не раздастся ли откуда знакомый голос. Хорошо, если дочь Настасья подле, затянула свой отпуск, и нынче помогает матери обживаться и привыкать уже к новой одинокой жизни.

Неужели от этого известия вновь всколыхнулась и полонила меня такая тоска, от которой вроде бы заледенело сердце, и все, к чему обращается ныне мой взгляд, оказывается тусклым, безликим, окрашенным в горестные тона? Видно, тоска, беда, радость, милость, гнев имеют и несут в себе ту энергию, которая превращает эти чувствования в конкретное, осязаемое, до чего, кажется, можно прикоснуться, измерить плотность, твердость и глубину. Порой, оказывается, тоску возможно видеть глазом, она имеет серый, нет скорее мышиный цвет, запах душновато-горький, она похожа на легкий туманец, обволакивающий все, что тебя окружает в это мгновение.

И беда, наверное, тоже носит свой запах, цвет и прочие характерные свойства. Иначе отчего бы животное, до сих пор доверяющее хозяину, с таким испугом забивается от него в дальний угол хлева, когда скотину пускают под нож? Иль у беды есть общее природное обозначение, еще не известное нам, и она может свободно перетекать от одного существа к другому, а от человека к животному?

Порою, говорят, скотина понимает слова. Она, наверное, понимает не слово, а чувство, которое накоплено в звуке и в природе одинаково для всех живых существ... Когда кабанчика выпускают на выгул, он кидается из хлева с визгом, с безумной жаждой свободы и, как угорелый, еще долго мечется по двору, унимая распаленную душу. Но вот его тянут под нож: голос хозяина печально-умильный и виноватый, взгляд несколько растерян, скользящий и дробный, он обращен в сторону и вдаль, где выше головы вздымаются гривы лесов и курятся над избами редкие сивые дымы. Хлевные ворота раздергивают со скрипом, и хотя кабанчик еще не видит ножа, матового по лезвию и сизого в сливе, где скоро запечется кровь, но по той атмосфере неловкости и тоски, которая разливается в это мгновение будто бы во всем мире и заполняет его, животина уже чувствует и предугадывает свою гибель, она полна этой смертью заранее, для нее весь воздух за воротами заполнен прахом и тоской, и потому, убегая от нее, скотина прячется в темь, в дальний отсыревший угол, где бревна успели покрыться каракулем куржака, и затравленно смотрит на приближающегося человека, пахнущего смертным тленом. Значит, от человека в эти мгновения исходит дух смерти?

А Хрисанф последнее время часто хвалился, что у него два сердца и оба каменных, что на гору вздымается бегом и хоть бы какая тебе одышка. Говорят, торопились в домовину положить и не побрили даже: челюсть у старика отвисла, так подвязали белым в горошек платком, а щетина оказалась жесткой, как проволока, платок проросла сквозь. Народу хоронило мало, только что близкие Серафимы да дочь Настя, а прочие дети, что на стороне жили, не поспели ко гробу, ибо так неожиданно все приключилось.

От герани душно пахнет приторной карамелью, пахнет печально и сладко. Герани по всему широкому подоконью в два ряда. Жена наставила, чтобы этим карамельным туманцем усыпить меня и после приворожить и переменить. А мне печально и тошно, хочется смести глиняные горшки за окно, тогда и гераням станет вольно: они разбредутся по всему палисаднику, тайно проберутся за штакетник на улицу, в зыбучие пески, к подножию леса и голубенького кладбища, и тогда Вазица станет кумачовой и сладкой: все мирно уснет в ней, успокоится и будет *одинаково для всех.*

Глаза устали от потолка, оклеенного картоном и на два раза покрытого «слоновой костью»: худой потолок, ни одного лица не проступит, ни одного призрака, не на чем задержать взгляд. Затаенно попробовал подняться с койки, но пружины подвели, предательски простонали, и сразу из-за бархатной потертой шторы спросила Она: «Тимоша, ты спишь?» — «Сплю»,— откликнулся сухо и опустил ноги на прохладный пол.

Широкий подоконник светился буйно, горел багровым огнем, цвела герань, своим духом гоня из дому всякую нечисть и желанья. Лист у герани мясистый, с персиковым пушком на солнечной стороне и словно хорошо выделанная кунья шкура — с теневой. «Осторожно, цветы не сброни!» — испуганно донеслось из горенки. «Обязательно сроню»,— прошептал мстительно, однако осторожно составил горшки на пол, накрыл газетами.

Собственно, почему я здесь, а не там, в Слободе, в разоренной печальной комнате с запахом тлена? Настасья небось не спит, сидит на улице на березовом пне, сохраненном у самой двери; волглый воздух обволакивает Настю, ей зябко, и она кутается в черную пуховую накидку... Сколько сейчас слов во мне, от них тесно и маетно. Мне печально от невысказанных слов, которые плавятся и сгорают в душе. Словно бы зачеркнулось разом все случившееся, как сновидение, внезапно и светло. Да господи, не придумка ли моя больная, не сон ли полубезумный, когда человеку так хочется полюбить, что ночные его видения полны живых картин... Но ведь, собственно, ничего и не было, такой характерный факт, но такое ощущение во мне, что все случилось до той самой полной глубины, в которую окунаются лишь двое взаимно любящих. А впрочем, что было? Да ничего, кроме взглядов и утомительных, вроде посторонних слов; но в памяти остались все твои движения, поворот головы, властно-нетерпеливый жест руки и незатухающий печальный свет в глазах, и тот внезапный поцелуй, ожегший руку мою, и мне уже верится, что я знаю тебя давно, может, с самого рожденья.

Порой у меня кружится голова, и мне кажется, что я чувствую время прошлое, настоящее и будущее, словно бы уже знаю, как жить буду и как доживу назначенное мне... Может, от гераней так душно, обволокло всего, что даже стопорит сердце. Кто застонал, откуда стон? Неужели так заполнилось все во мне любовью, что я застонал?

Бархатная штора откачнулась, голос чей-то позвал, но, видно, так напряжен был я, что дрожь испуга пронизала всего, и больно толкнулось сердце. Она — супруга — стояла на пороге в сером, словно бы деревянном халате, рукою капризно и вызывающе держалась за ободверину, силясь стоять ровно, не косоплечиться, но правая короткая нога напрягалась, натягивалась в икре, и пальцы цепенели в натуге. «Ты сегодня ляжешь спать? — сухо спросила Она, подозрительно осматриваясь. — Что ты бродишь, как нечистая сила?»

Хотелось ее оборвать, наорать, но взгляду бросилась оцепеневшая короткая нога, худая в икре, и стало жалко жену. «Иди спи. Надзиратель, что ли...» — постарался сказать мягче, но получилось через такую натугу, словно бы каждое слово добывал из себя.

И снова удивился странному своему присутствию в этом доме: словно бы не сам и ставил его, надрываясь до тупой боли в пояснице, словно бы не я собирал по берегу плавник, а после на лодке тянул под дерево и выкатывал по слегам в штабель, чтобы продуло лес морским ветром, пообвялило; вроде и не я обхаживал каждое бревно топором и рубанком, кантуя его до стеклянной гладкости, чтобы дольше стояло, чтобы не брал его ни дождь, ни грибок, ни усталость, точно намеревался жить здесь вечно и род свой выпестовать. Может, так и думалось в душе-то, но не так случилось. И сейчас лишь гостем понимал себя в этой избе, человеком, случайно сюда забредшим середка ночи в поисках приюта. А ведь как радовался, когда окладное осилил: под каждый стояк, заботливо осмоленный, кидал по гривеннику на счастье, после и косушку разбил об угол, суля кораблю долгое плаванье (но об тот ли? — вот сомнение), и с соседом распили бутылку. И жена возле суетилась, что-то поддакивала, сияла плоским лицом, играла соболиными бровями, какие-то закуски подавала: и не то чтобы милее иль красивее была она тогда, но казалась необходимой и единственной, с которой смиряются и привыкают часто до самой гробовой доски, и под самый закат почти влюбляются, так далеко заходит эта странная игра; будто побаиваются, а вдруг придется встретиться и Там, где жить вместе в бесконечной сваре и злобе — грешно и страшно.

Когда рубили дом, во мне все будто заснуло, затвердело к жене — так я дьявольски уставал. Но ранее, помню, сразу после свадьбы жило лишь недоумение во мне, казалось наваждением общее наше житье. Я страдал от каждого ее движения, ибо все виделось лживым, рассчитанным на жалость, и она добивалась своего: вина моя чудилась безмерной, и мне хотелось утешить жену, только чтобы не видеть ее несчастной. Я сам себя наказал и потому безвольно замкнулся в своем мире, исподтишка, подозрительно наблюдая за женой и постоянно растравляя себя: и теперь мне все казалось нарочитым в жене — и ее наигранные жесты, ее плаксивый голос, вымаливающий тепла к себе, игра лица и пепельных навыкате глаз, когда она хотела понравиться и возбудить чувство, манеры, движения рано оплывшего тела, ждущего ласки, ее бородавка над тонкими губами, которую она ядовито красила, находя это красивым, и вопрошающий распахнутый взгляд, в котором читалось постоянное недоумение обиды, и ее жидкие стального цвета волосенки, ее привычка прилюдно целовать меня и теребить волосы, намекая тем самым на свою власть надо мною. Казалось странным, что мы жили под одной крышей, делили постылое ложе, о чем-то изредка говорили, порой обсуждая и осуждая знакомых, плановали жизнь свою в будущих годах, даже порой какие-то симпатии будили друг в друге, и тогда любили холодно и нетерпеливо, словно бы боясь и брезгуя прикоснуться друг к другу, сразу же отворачивались и засыпали под одним вроде бы одеялом, но такие чужие, более далекие, чем при первом случайном знакомстве. Какая-то скользкая игра чувств соединила нас, опутала: но ведь во мне ничего не жило к ней, кроме жалости.

Так случилось, что «мы мучили друг друга».

...В Чижу я тогда попал случайно: собирали песни. Домок, где мы заселились, оказался крохотным, в три окна, для Севера странным своей худобой и ветхостью, когда девять месяцев ветры с моря несут слякотные пронизывающие холода. Крыша сползла набок, позеленела, в желобах проросла ива, и семейно жили воробьи. Нам-то что, не великий и страх в августовскую пору прокоротать дней десять, а после обратно в город, где я доучивался; но каково-то им живется — хозяйке подворья, высокой старухе с седыми бровями, и ее дочери. Из жалости шубу, конечно, не сошьешь, от нее ни тепло, ни холодно, но как потушить ее, если она необоримо гнездится в душе? Но тогда, помнится, нас сразу поразила ее дочь. Старуха жила в кухне возле печи, а мы, пятеро мужиков, расположились табором в горенке с уродливо разбухшими до пузырей ржавыми обоями (видно, стены отсырели), комодом в переднем простенке с двенадцатью слониками на вырезной салфетке и высокой кроватью с медными шарами. Мы вольно раскинулись на полу, и в первый же вечер, еще не успели уснуть, как вошла девица, влезла на высокую постель из трех пуховых перин и стала раздеваться. Нас поразило, как она медленно, с каким-то вызовом раздевалась, окрикнув не столько для строгости и предупреждения, а сколько напоминая о себе, дескать, я обнажаюсь, я вся тут перед вами.

Сидя на кровати, она медленно скидывала комбинашку и лифчик, при этом груди ее зыбко зависали, голубея в подмышках, и шея, в сумерках вовсе молодая, доверчиво дожидалась ласкового прикосновения, но все молчали, покряхтывали, отворачивали невольно глаза, однако взглядывая порой и на опущенную

грудь, и на плоские, близко сомкнутые лопатки с глубоким желобком по спине, и всем стеснительно было не только сказать что-то иль предупредить девицу, хозяйку этой горенки, о своем присутствии, но даже и вздохнуть глубоко. А она с какой-то нарочитой беспомощностью и откровенностью затем медленно надевала ночную рубашку и укладывалась спать, подтыкая под бока одеяло, чтобы не дуло, и выпрастывая поверх обнаженные руки. И все это повторялось изо дня в день, пока жили мы, утром и вечером, и всем казалось неловким кашлянуть тогда иль напомнить о себе, дескать, голубушка, поимей совесть, веди себя поскрытнее, что ли; но никто ничего так и не сказал, до того в смешное и глупое положение она всех нас ставила. Меж собой мы жалели девицу, нам казалась она одинокой и неприспособленной к жизни на морском тундровом берегу.

...Судьба вела меня за руку, иль рок какой руководил мною в тот год, иль семьи мучительно хотелось, крова своего и женской непотайной ласки, но только зимою, месяца четыре спустя, я снова навестил ту деревеньку на канском побережье; избы, помнится, утонули в снежных забоях, под низким заколеневшим небом тундра чудилась вымершей, и лишь черные сажные вытайки вокруг труб да редкие глубоко натоптанные тропинки выдавали здешнюю жизнь. Словно бы в пещеру спустился я по вырубленным в снегу плотным ступеням, с трудом открыл намерзшую дверь и после уличных сумерек, из гнетущего тундрового пространства, с тропинки, едва намеченной меж домами, попал вдруг в желанное избяное тепло, и крохотная кухонька показалась радостной и залитой светом. И хозяйка была прежней, вроде бы не постаревшей, с прямой, чуть прогнутой назад гвардейской спиной; откровенно удивившись, она помогла даже снять настывший полушубок и этим окончательно расположила к своему житью. «Ну и занесло вас, по самую макушку закидало»,— помнится, сказал я тогда, и хозяйка с седыми вепревыми бровями ответила мне сразу, не мешкая: «Да не успеваем отгребаться. Утром-то в магазин надо, а тропины нет, начисто заметет, так я сначала кошку за дверь выкину, они, заразы, хорошо чуют дорогу, а по ее следам и сама торюсь».

Наверное, заслышав сторонний голос, из горенки появилась дочь и тоже почудилась иной: была девица в атласной бордовой кофте с черными кружевами и длинной, до пят, зеленой бархатной юбке; волосы гладко прибраны на обе стороны, и на макушке подколота кренделем накладная коса; пепельные глаза подведены слегка, и от голубых теней взгляд ее стал глубоким и теплым, и все лицо утеряло вдруг прежнюю щучью озабоченность. Видно, я не скрыл своего радостного удивления, и она еще более осветилась, гордо, почти не прихрамывая, бочком опустилась на табурет, готовно подставленный матерью, и, с каким-то вызовом откинув голову, властно оглядела меня всего.

Мы замолчали. Мать поднесла миску квашеной капусты с моченой брусникой и по стопке водки на привальное, мы согласно выпили, но девица, не закусив, вдруг объявила, что ей пора на спевку в клуб, там ее ждут, и выскочила из-за стола, бархатную зеленую юбку высоко подвязала, чтобы не мела по снегу, а после накрылась овчинной шубой и пошла к порогу, не приглашая меня. Тот весь день, длинный и пьяный от перелетов, от муторного движения, от одинокости моей на краю земли, от зимней стужи, обманчиво закружил меня и окрутил. Сейчас лишь, через шесть лет совместного житья, я спрашиваю себя, зачем же я потянулся тогда следом за Ней, отчего не остался в теплом жилье на кухне возле старухи с седыми вепревыми бровями, за неторопливой беседой; какой же леший потянул меня на темную волю, под мглистое небо, сплошь затянутое снежной наволочью, готовой обвалиться затяжной метелью... Но я тогда выскочил торопливо следом, еще дверь не успела захлопнуться за Нею: девица оскользнулась на снежной ступеньке, и я подхватил за локоть, стараясь помочь хроменькой и жалея вдруг, снова крохотную и неуклюжую в этой чугунной темени. Собаки выли, сварливо грызлись возле домов, глубоко в снежных провалах теплели окна, и свет, как из колодца, едва пробивался на бровки сугробов. Девица, словно бы имея на то законное право, властно подхватила меня и так не отпускала до самого клуба, нарочно тесня с дороги: знать, стопка хмельного разогрела ее, растопила, и она, забываясь, часто и нервно приникала ко мне и нахолодевшую ладонь глубоко совала в мой карман. Сначала я отбояривался, досадуя тайно и смущаясь, а после, наверное, боясь обидеть, уже не оттолкнул ее гладкие пальцы и отчего-то зажал в своей руке. «Ну и влип,— усмехнулся над собою и своим глупым положением.— А она-то хороша, нахалка, оказалась, такой характерный факт. Изнасиловать мужика готова».

В клубе, чтобы голос не гарчал и согласно лился, чтобы духу хватило поднять песню, певицы в закутке за сценой еще разделили бутылку (благо мужья не видят) и, кинув на стул верхние одежды, долго, до поту топали и плясали народное, пели высоко, с протягом, и Она, дочь хозяйки моей, особенно выделялась среди баб частой поступочкой, столь неожиданной при ее хромоте, и игрой широких соболиных бровей, и тенористым свободным голосом, и властностью повадок, когда вела в кадрили своих, не первой молодости, товарок. Да господи, она ли это была, приниженная всегда и худосочная, с щучьим напряженным лицом, которую мы знали в прошлый раз и так жалели меж собою?

Обратно мы возвращались перед полуночью, неторопливо путались в забоях.

Хозяйка уже спала на печи, и мы стесненно вдруг притихли. Девица закружилась по кухоньке, достала недопитую бутылку, и, когда разливала остатки по граненым стаканам, рука ее мелко дрожала. «Слушай, чего нам лизаться, а? — вдруг сказала Она, словно бы намекая на что-то иное. — Чего нам лизаться, не дети же мы малые». И выпила лихо, залпом, и утерлась рукавом. После с укоризною подвинула ко мне стакан, и я, перемогая неохоту и нехорошее предчувствие, как перед покойником, закрыл

глаза и выпил водку неотрывно; и все сразу облегчилось, загорелось, прояснилось, воспаленный свет лампы вроде бы встряхнулся, и грудь моя задышала вольнее, и Она в этой атласной бордовой кофточке с черной кружевной отделкой показалась мне милой. Какой черт поманил меня тогда? Какой же отравы иль присухи тайно всыпала Она в мой стакан? Какого приворотного зелья намешала в хмель? Я выхлебнул из этого стакана знакомое будто питье и, закусив квашеным капустным листом, внезапно услышал себя влюбленным. Ну, а после случилось все согласно чужой воле, точно потерялся я, и две пуховые перины приняли меня готовно.

Помнится, проснулся я тогда рано и с неизбывной тоскою долго маялся, вроде бы помереть мне сей же миг, искоса глядел на тусклый ее профиль, на заспанный тупенький носик и рыжую бородавку над верхней губой, и так мне стало тошно, что готов был я разрыдаться. Отчего, какая такая смута незвано полонила меня, и я, растравленный совестью и жалостью, долго себя мытарил и казнил. Но почему тогда же не сбежал от греха, кто знает: словно бы хотелось испытать себе уготованное. А помаявшись до утра, вдруг на все махнул рукою и решил, что Она даже вовсе и не дурна, а от любви моей и вовсе захорошеет, да и ежели по совести судить, то и я не красавец, носат и губаст, лешачьего лика — так что самая, выходит, пара.

Утром Она объявила матери, что мы поженились, а я не возразил, и старуха сразу развернулась широко, добыла спирту, наварила студня, нажарила свежих наваг, нашелся оковалок застывшего сала — вот и застолье. Другим вечером свадьба отыгралась скорая, пьяная, молчаливая: мужики темно налились спиртом и пали, где сон блаженный застал, а мы, помнится, возлегли в горенке на высоко взбитые пуховые перины, душно пахнущие, и глубоко утонули в простынях. И тогда вновь что-то грустно и больно надорвалось во мне: то, знать, навестило впервые предчувствие. А через полгода, наверное, после свадьбы, молчаливо миновав родных в Городе, уехали мы в Вазицу; жена скоро налилась телом, и плечи покато отекли. Теперь уже постоянно Она мостила над жидкими русыми волосенками толстую чужую косу, сплетая кренделем, отчего голова в затылке становилась до безобразия плоской.

Дети бы пошли, так, может быть, и уладилась бы наша общая жизнь: но тут словно бы засохли оба на корню, и бесплодная любовь наша стала мукою и долгим грехом оттого, что так неловко и дурно сошлись. Говорят, любое умирание слышится издалека: сначала словно бы легкий, едва уловимый ветерок касается твоей души, и она внезапно начинает ныть и томиться. Печально вспомнить, но еще в брачную ночь, глядя на ее запрокинутое, припухшее от страсти лицо с влажными прорезями глаз меж сомкнутыми веками, я вдруг отчужденно оглядел жену и подумал, что скоро разведусь с нею. Я тогда испугался этого впечатления и постарался забыть его, но то предчувствие, лишь однажды навестившее меня, стало после неотвязным, а любовное ложе закоченело. Жене бы знать ту давнюю мою мысль, и она бы прокляла меня, как смуту и зло, чтобы тут же изгнать от себя и излечиться от напрасных мечтаний. Она же постоянно видела причину лишь в себе, в своей невзрачности. И потому покорно мирилась со своим существованием, старалась понравиться, строила смешные, до отвращения смешные уловки, чтобы своею страстью всколыхнуть меня, а ей бы в самую пору давно возненавидеть меня и хоть этим-то облегчить свою жизнь. Боже мой, какую каторгу уготовил я нам обоим. «Я мучил ее — она мучила меня».

...Помнится, как странно был возбужден в последние дни Хрисанф Малыгин, как при живой-то супруге часто и мрачно толковал о сожительнице, чтобы досадить, наверное. Как он умирал? Что почувствовал, когда набухло и лопнуло его сердце: стыд, раскаяние, страх?

Рассказывали мне, будто один лейтенант на фронте чувствовал приближение смерти. Не своей смерти — чужой. Будто бы лицо еще живого человека перед боем наполняется благостью, оно худеет, как бы утанчивается, и в глазах появляется постороннее отсутствующее выражение, словно бы человек еще среди прочих, но и нет его в это мгновение, он уже вознесся куда-то, его уже нет на миру. И действительно, солдат шел в бой и погибал, но он погибал еще в своих окопах, будучи живым, знать, предчувствие подрывало волю, подтачивало способность легко управлять собою. Лейтенанту после страшно стало своего предвидения, жуткого узнавания, и он боялся перед боем смотреть товарищам в глаза... Однажды нарушилась связь, но свободного телефониста не оказалось, и собрался идти на поиски обрыва командир взвода. Стояло затишье, ничто не предвещало беды, но, прежде чем покинуть блиндаж, командир взвода зачем-то наново перемотал портянки, словно бы оттягивая время, и, когда он поднял глаза, слегка покрасневшие от напряжения, в его взгляде лейтенант поймал то благостное состояние примирения, так знакомое ранее, и ему внезапно подумалось, что видит друга в последний раз. Он пытался прогнать это чувство — и не мог. Друг рассеянно оглядел блиндаж, скрылся во ржи, но его долго не было, и связь молчала, и тогда лейтенант пошел следом и отыскал друга уже остывшего. Надо же было тому случиться, чтобы шальная пуля, выпущенная врагом в огромном пространстве, нашла именно этого человека, полностью сокрытого хлебами, и ударила его под мышку.

Удивительно, но оказывается, в человеке, идущем к смерти, возникает непреодолимое упрямство, и ничто его тогда не может поколебать: ни уговоры, ни мольбы, ни угрозы, словно в это мгновение смертное влечение вспыхивает в обреченном, подобно пламени, сжигающему душу и плоть, и вся она необыкновенно собрана и слепо нацелена на одно...

Сумерки сонно колыхнулись, и на смородиновом листе робко засветилась росная влага. Море едва переливалось, и окраек его, видимый из моего окна, походил сейчас на потный лошадиный бок. Еще раз колыхнулись сумерки, и серебристую пыль туманно и легко разбавило луковым настоем: где-то, словно бы в чреве земли, встрепенулось солнце и натужно полезло из лона, и там, где головенка его наметилась, где лысому темечку быть — розово потекло.

За ближними избами на мостках просочились неохотные шаги и, точно от их мерного сотрясения, оторвался пуповинкою туго скрученный черемуховый лист: он рано отжил, выпитый гусенкой, и сейчас шумно и тревожно упал на край подоконья. Кромка

у листа мохнатая, до прозрачности выеденная, мертвые впалые сосуды бескровны. Мерные шаги раздались возле за углом, и лист, словно бы и в смерти кем гонимый, пропал в поседевшей траве.

Мишка Крень по своему обыкновению шел к морю. Лицо чугунно-синее, напряженное, покрытое неряшливой седой шерстью, с подпалом рыжим в подусьях, взгляд устремлен в глубь себя, и ничто иное не в силах привлечь его внимания: синие милицейские галифе осыпались понизу до самых щиколоток, тоже чугунно-синих, и босые ороговевшие ноги копытами били в мостки, когда-то белая рубаха, изъеденная сажей и потом, свободно полоскалась на безмясом теле. Окрикни сейчас старика, позови, он не отзовется на ваше доброе слово, разве лишь немо и тупо поглядит на вас, оставаясь словно бы во сне. Песчаной гривкой Крень спустился к морю, грузно проседая в плывучих наносах, едва прикрытых вялой шелковистой травкой, и устало опустился на китовый позвонок, заморщиневший и бурый от непогоды.

Из какой же расщелинки на могучем Креневом дереве вдруг пробился этот корявый отросток и, не засыхая вовсе, но и не расцветая желанно, упрямо тянется в небо; отвалиться бы ему вроде пора, смешаться с прахом, а он, однако, неистребимо держится на миру, словно бы похваляясь своею крепостью. Для какого же своего назначения, по какой тайной нужде выбился на Креневом родовом древе этот угрюмый и угрозливый сук?

Постой, но Хрисанф-то Малыгин выходит ему сродником, совсем близким по крови: отцы — братья. Хрисанф, наверное, предчувствием смерти был встревожен тогда и потому в последние дни память свою постоянно ворошил и далеко проникал в нее, приглашая и нас за собою. Он все силился предания родовые вспомнить, словно бы какое суеверие уже говорило: дескать, вот отомрешь — и никто уже не помянет Хрисанфа, не причислит к старинному поморскому корню...

Где-то сейчас Настасья: ведь как-то же должно передаться ей мое состояние. Только до меня ли сейчас? Как ни странен был отец, как ни задеревенел натурою, однако тянулась к нему дочь, знать, кровь к крови льнет. Такой мрак сейчас опустился на их дом, сидят, поди, как ночные птицы, молчат, и сон их не берет. У Аннушки лик зверушечий, напряженный, ей мертвый дед Хрисанф спать не дает: глаза тяжелые, свинцовые, в самую бы пору забыться, но тут словно бы понесет ее в постели, закрутит, и глубь черная покажется неотвратимой, а в той темени дед Хрисанф мерещится совсем живой и пьяный, бессило колышущийся на самом дне и не могущий хватить вольного воздуху. Глаза бы открыть Аннушке, но так тяжело пересилить свинцовые веки, да и матери страшно, жутко от ее заострившегося, будто бы пеплом осыпанного лица. Дрожат девчоночьи ресницы, дрожит от них тень в полщеки, бордовые накусанные губы тоже дрожат, и в синих, почти черных подглазьях точно бы слеза непросохшая плавает от пережитого. Настасья видит, наверное, как играет нервное дочернино лицо, как трепещет оно каждою жилкой и туго натянутыми скулами,— и, чтобы успокоить, поет хрипло, устало, через каменную тягость. Аннушке чудится, будто сквозь землю пробивается материн голос, и нет в нем прежней ласки, а лишь безразличие и отстраненность: «Бай-бай Аннушку, бай-бай маленьку. Уж ты коткотачок, приди к нам на денек, не работу работать, только Аннушку качать. Я тебе-то, вот, коту, за работу заплачу: дам кусок пирога и стакан молока, а на великий пост дам я редьки хвост...»

Я тогда не подал никакого известия о приезде в Слободу, но Серафима перед тем какой-то сон видела со значением и ждала гостя, а потому меня готовно встретила, как того, единственного, о котором вроде бы и мыслилось постоянно и с нетерпением. И только я порог переступил и объявил о себе, как она сразу уверилась в тайной духовной связи меж нами, которая и привела меня столь неожиданно в этот дом. «Вот и хорошо, что телеграммку не подал, правильно? Это как хорошо, что весточкой не объявил, я тоже, бывало, так любила неожиданно, верно? Нагряну — вот и я, любите, жалуйте. Ну-ка, покажись, Тимофей Ильич Ланин, какой ты да каковой».

Старушка потянулась навстречу, пробуя достать мою голову, и по неловкому, нащупывающему движению руки, пугливо натянутой, я понял, что она слепа, и я торопливо подставил лицо, плечи, грудь, и Серафима, оказавшись возле, совсем затерялась под плечом, столь она была невидной и усохшей в этом застиранном байковом халатике, не скрывающем шишковатых колен. Как же я обманывался, оказывается, в своей памяти: я знавал ее пятилетним, тогда мы года два жили здесь на постое всей семьей, и тетя Серафима представлялась рассыпчатой, осанистой и волоокой, с мягким грудным смехом и теплой доброй ладонью, которой мимоходом обласкивала меня, подавая горячий пирог иль шанежку и искренне жалея. Такой помнилась постоянно, такой и видеть намерился, и потому первое впечатление меня поразило. Я даже высоким, громоздким человеком себя помыслил в сравнении с Серафимой Анатольевной, хотя, чего скрывать, ростиком и я не удался. А старушка снова дотянулась до моей головы, сбила волосы на лоб, дробно и заразительно рассмеялась вдруг: «Ой, нашего ты роду-племени, Тимоша. Наша ты кровиночка и росту нашего, верно? А я вот ослепла, Тимоша, года два, как ослепла! Правда, не совсем: солнышко вижу, смутно, как яичный желтушок»,— уже грустно сказала Серафима и, скрывая внезапные слезы, несколько стыдясь перед нежданным гостем, примостилась у печи за дверью, словно бы в норке своей затаилась, и там закурила, и оттуда показывалось наружу лишь отточенное, будто лаковое ее лицо с частой насечкой морщин, чутко вздетое к потолку, и живые пальцы с сигаретой.

— Отец, где ты там, представься,— сухо повелела

Серафима из-за двери, и ко мне подошел старик Хрисанф, которого я в детстве не видел, он ходил на войну. Он словно бы дожидался оклика, сразу появился из комнаты и росту оказался великого, под потолок, а виду разбойного, упаси боже увидеться где-то на лесной тропе: волос неряшливый, сивый, сбитый в жидкие кудри и непомерно отросший, и сквозь грязновато-седую пену розово просвечивала кожа; нос — тяжелый, набрякший от частого питья, подернутый склеротической паутиной; глаза выцветшие, навыкате, наверное, когда-то бледно-голубые, губы ступенькой, и из черного бездонного зева голос выкатился зычный, хотя слов поначалу я не разобрал, точно кашу жевал старик. Хрисанф был мне откровенно рад и, сгибаясь почтительно, спросил, как жизнь идет. Я ответил, что жизнь идет прилично, грех жаловаться, день ото дня все к смерти ближе, на что он глухо, с бульканьем рассмеялся.

— Да какая уж нынче жизнь, одно доживанье,— согласился Хрисанф, состроив скорбное выражение, и оглянулся на жену, но та лишь повела головою и смолчала, и потому старик разговорился. — Раньше-то ели не с нынешнее, деревянны деньги. Супу-то наваришь, а мяса-то оковалок, да напорешься до пузы, да редьки натрешь, да с квасом, а квас-то ой, рот дерет, родименький. Это нынче квас-то вода одна, кругом химия да атом, деревянны деньги. Раньше консервы не знали, Тимофей Ильич, скажу вам, оттого и здоровье было. Это война сокрушила, она больной народ навела. Да и морозина не эка была, сорок, сорок пять — обычное дело, работаешь — пар валит. Фуфаек не было в моде, шили пинжаки до колен, дак две волочуги сена накладешь по пояс в снегу, только пар валит. И руки холоду не знали, рукавицы за пояс заткнешь — и давай наяривать... Я в заготпушнине когда работал, дак помню, и зверя-то не экого примал: шкура-то огнем горит, ее смотреть глазам больно, на стол кинешь, а хвост до полу. А нынче с карандаш принесут, как с мышки сымут...

Он так и стоял передо мной, прогнувшись в спине, словно бы стараясь быть вровень, и вовсе забыл, что я с дороги, что я, быть может, устал иль не в настроении, а все жевал свою кашу, приблизившись вплотную ко мне щетинистым крутым подбородком. Хорошо Серафима, докончив сигаретку, оборвала мужа: «Слышь, ты, холера старая, гостя заморишь совсем. Он с дороги-то устал, верно? Он с дороги-то есть-пить хочет, а ты ему голову пустой говорильней запудрил. Ты, Тимоша, его не слушай, его не каждый и поймет». И она рассыпчато рассмеялась, вовсе прикрывшись облезлой, когда-то крашенной дверью, а старик глянул в ее сторону так злобно, с такой откровенной ненавистью, что сердце мое невольно вздрогнуло.

Хрисанф пошел наставлять самовар, спугнув с привычного места Серафиму, и та перешла к окну, бормоча под нос и оглаживая снежной белизны волосы, и от этих, может, льняной светлости волос иль от полдневного света, бьющего в окно, только смуглое старушье лицо казалось костяным, покрытым лаком: «Как хорошо, что ты приехал, верно? Как это ты догадался, ну как хорошо». Я же молчаливый, с неясною тоской человека, прибывшего в новые для него места, пристально разглядывал житье, заново припоминая его, и оно мне показалось столь запущенным, что сердце вновь сжалось. Вроде бы жизнь до краю прожита, учительницей сорок лет пробыла, да Хрисанф хлебное место занимал, но, однако, не нажито в этом доме богатства: широкая русская печь в пол-избы, крашенная темною охрой, лопнувшая по вздутому чреву и натуго обмотанная проволокой; рукомойник медный в закутке, и тот угол так закидан помойной водой, что обои вовсе отстали от стены и похожи на застарелый изношенный войлок; посудный шкапчик, рукодельный, топорной работы, с цветными журнальными наклейками по задней стене и полдюжиной простеньких чашек и граненых стаканов; да стол, грубо сбитый, но вековечный, грязно обшарканный понизу ногами. Видно было, что в этом доме доживали век, коротали, как придется, и уже ничто не волновало, никакие мысли о будущем благополучии не беспокоили. Все оставалось прежним, словно тридцати лет не минуло, но тогда житье казалось чище, ухоженнее, сугревней, на всем лежала печать доброго женского догляда. Собственно, когда, не ужившись в городе со свекром, мать моя средь зимы кинулась сюда, в Слободу, где вроде бы никто и не ждал с распростертыми объятьями, она нежданно отыскала приют здесь, у давней подруги по Вазице Серафимы Анатольевны, и на этой печи средь преющих валенок и фуфаек, железных противней и всякого носимого барахла вместе с тремя хозяйскими отпрысками мы довольно сносно и в тепле добили ту тяжкую военную зиму. И когда я с любопытством оглядел печь, узнавая в ней прежние щербатины и тяжкие раны, то вновь проникся благодарным душевным теплом, словно бы вспомнил о родимой матушке.

Серафима как-то ловко и неприметно из каждого закутка умела устраивать для себя схорон: вот и сейчас, примостившись у застолья, она почти скрылась под ним и споро работала ножом, раздевала сырую картошку. Но порою приподымалась над столешней и упорно выслушивала что-то, обратив чуткое ухо к полому окну, в которое проникали звуки вечереющей улицы, ближнего луга и соседних подворий. «Куда девки запропали? — досадовала она. — Тут такой гость, верно? А они запропали. Я тебя, Тимоша, хочу познакомить. Дочь с внучкой гостится, так хочу тебя познакомить. Тоже вот с мужем разбежались, беда, и чего не скрепились?» И оттого, как были сказаны эти слова, как часто повторялись, они вдруг обрели иной, волнующий смысл, и душа моя невольно напряглась, и мне уже тогда показалось, что в этом доме что-то должно случиться. От вешалки, от распахнутой двери я перебрался к распахнутому окну, и тоже, полнясь нетерпением, стал разглядывать двор, в дальнем конце которого должна была появиться Настасья.

У поленниц вились мухи, от черемух, насажен-

ных под уклон до самой изгороди, уже легли глубокие тени, в дальней распахнутой калитке виделся край луга и крохотный осколок ручья, по-вечернему белого. Хрисанф уже стол срядил и сам сел, сложив на столешне тяжелые темные руки, словно бы свитые из бурых древесных кореньев, да и каждый толстый палец был удивительно искорежен, с желтой чешуйной ногтя. Казалось бы, пенсионер, какую такую земляную работу ведет, но эти ладони уже и дресвой не отшоркать, разве лишь на неделю замочить в керосине, и тогда они слегка оперхают, побелеют, отойдут. Старик неотрывно смотрел на меня, и, когда я ловил его слегка подголубленный взгляд, он радостно кивал и улыбался, и толстые брови подымались торчком. Отчего, откуда проявилась в нем такая радость ко мне? Чем таким заслужил я расположение к себе?

«Ты чего-то забыл, отец»,— сказала Серафима; с улицы в сорочьи ее глаза упал свет, и они ожили. — «А ничего не забыл,— хитро подмигнул мне Хрисанф. — Ты у меня, копуша, сиди, раз слепа, дак». — «А ты, Хрыся, не обманывай. У меня знаешь слух-то? Порою слышу, как старик в кухне говорит: «И рюмочки-то нет выпить»,— а сам наливает и бутылку прячет. Я в кухню приду и скажу, где он спрятал бутылку. Такой у меня слух, верно что сильный. А у него, правда, нюх на вино. Я спрячу бутылку, а он сядет на лавку, обведет взглядом избу и, не сходя с места, найдет ее... У меня слух развился необыкновенным образом, верно, Хрыся?»—«Ну да, слон на ухо наступил, такой у тебя слух»,— по-лешачьи захохотал старик и опять довольно подмигнул, подключая и меня в какую-то давнюю их игру; кажется, жизнь вот прожили, все тягости перемололи-перенесли, а нынче и такой забаве рады, счастливы от детских бесхитростных уловок. Серафима не обиделась вроде бы на последние слова, видно, не раз повторялись они, и обижаться в этом случае не входило в их игру, чтобы не нарушить ее,— и легко согласилась: «Слух-то, может, и хороший развился, да слон вот на ухо наступил. Однажды ведь Хрыся как изловчился...» — «Да не зови ты меня Хрыся, Хрыся-крыса, вот укушу дак, деревянны деньги»,— вспылил хозяин, и глаза его устрашающе выкатились. Но Серафима словно бы и не заметила этого возмущения — иль это детская месть была,— и она ровным прокуренным голоском продолжала: «Однажды ведь Хрыся как изловчился. Спрятал бутылку в валенок, такой идол, сидит на печи и поет. А я в толк не возьму: что это, думаю, сидит муж на печи и такой веселый. Только отвернулась, а он из валенка бутылку раз, да из горлышка — такой ли ловкой». Она помолчала, пожевала губами и, уже внутренне досадуя, ощупала стол рукою и повторила: «Ты чего-то забыл, отец?» — «И не забыл, и не забыл,— довольно воскликнул Хрисанф и пристукнул по столешне бутылкой, которую умышленно сунул за самовар. — Давай, бабка, тяпнем по маленькой, чем поят лошадей. В чреве пустыня, все ссохлось». — «А девки? Погодить бы надо»,— всполошилась Серафима. — «Придут и догонят. По махонькой, по махонькой, чем поят лошадей. А ну, родимая, грянем»,— гугнил старик, и я с трудом понимал его: но лишь ослабился, отвлекся на мгновение и сквозь рассеянное сознание услыхал лишь: бу-бу-бу.

Зачем он выбрал меня в союзники? По какому такому согласью вдруг так залюбил меня? Вот и сейчас заговорщицки подмигнул, мне и себе налил из бутылки, а супруге своей из графина простой воды нацедил тонкою струйкой, губы протер и, поднявшись над столом, заслонил собою будто бы все пространство серенькой пыльной кухни, воскликнул громово: «С приездом, Тимофей Ильич. Ну, бабка, чокнемся давай, чтоб на небесах тошно стало». — «Много-то не пью, а при нужде да при веселье стопочку выпью»,—легко согласилась Серафима и готовно пригнула стопочку.

Хрисанф с дьявольским злорадством, так и не присев, смотрел супруге своей в рот и уже готов был расхохотаться, но тут что-то скисло в его лице, и он торопливо налил себе снова. Серафима выпила, и лишь на мгновение в непросветных ее глазах плеснулось изумление, но старая тут же овладела собою, крякнула и кинулась торопливо закусывать рыбой: «Ну и горька же она, зараза,— повторяла по-мужицки сипло и все крякала непрестанно. — Ты чего такого крепкого налил, Хрыся, не спирту ли? Как только и пьет народ». — «Это же вода была, ха-ха. Чего врешь-то, бабка,— снова подмигнул мне Хрисанф. — Глупа кочерыжка, это же вода была, я тебе из графина брякнул, а ты на радостях-то, ха-ха. Вот и Тимофей Ильич не даст соврать, как я из графина». — «Вода не жгется, Хрыся. Запомни это, вода бальзамом лечит, легко катится, а тут ожгло, словно палкой огрело»,— настаивала непреклонно Серафима, и хоть бы тебе улыбка скользнула на костяном лице. «Да ну тебя»,— сплюнул Хрисанф, недовольный, что розыгрыш не удался, но сам, будто случайно, принюхался к Серафиминому стакану.

И тут, как спасение, неслышно явилась на порог Настасья: она проступила из сумрака сеней, как виденье, и улыбчиво оглядела всех, и меня ровно осветила печальным глубоким взглядом, и так же мирно воскликнула: «У нас гости-и... А вы все воюете. И не надоело?» — «Это все он, это все она»,— воскликнули старики разом и ожили, тоже посветлели, и Хрисанф торопливо наполнил бабкину посуду. Серафима потрогала пальцем краешек стаканчика, облизнула и радостно, восторженно захихикала. Настасья сняла с головы чалму, спеленутую из махрового полотенца, резко встряхнула литыми вороными волосами, коротко подрубленными и тяжелыми от влаги, и свободно подсела к столу. «А мне винца?» — нарочито капризно попросила она и пристально посмотрела на меня, видимо, уловила мой изучающий взгляд. «Ты свое прогуляла, доча»,— снова радостно засмеялась Серафима.

У Настасьи оказалось смуглое, как и у матери, лицо, слегка припухшее в веках, брови тонкие, нервные, в угольных глазах до самого дна густая печаль и та же неуловимая скорбь в жестко вылепленных

губах; меня сразу поразила и удивила глубокая печаль, и пленила, как покоряет все странное и неразгаданное. Нельзя сказать, чтобы Настасья была особо красива и приманчива, но все ее неправильно скроенное лицо постоянно притягивало, на него хотелось смотреть, словно бы ты был повинен в этой испепеляющей скорби. Она была рядом, но и столь недоступной, что мне вдруг затосковалось болезненно, и я невольно отвернулся к окну, безразлично отмечая взглядом наползающий розовый туманец на ближней луговине и пахнущие прелью жидкие сутемки возле сараев, полные комариного гуда. Слышно было, как сбоку проворно распоряжалась посудой Настасья, и я невольно поймал себя на мысли, что постоянно думаю о ней. Вот, оказывается, отчего тетя Серафима казалась мне тогда широкой, усмехнулся я. Она носила в себе эту печальную женщину.

«Милиционер родился,— нарушила тишину Настасья. — Вы чего, люди добрые, уснули?» Никто не успел ответить, как ворвалась Аннушка и навела суматоху. Еще от порога запела, дурачась: «Как дед бабку посадил в ладку, поливал ее водой, чтобы стала молодой», подсела к столу, локти на столешню, ноги лягаются, голова ходуном; не девчонка, а фараонова сила, уродится же такой ребенок. «Посиди хоть мгновенье спокойно»,— осадила мать и смазала дочери по затылку; та сразу притихла, надулась, сочные губы в щепотку, личико слегка вытянуто вперед, как у сорожки, может, от постоянного любопытства так организовалось оно, глянцевые волосишки забраны в пучок. Что-то печальное почудилось мне и в ее облике, знать, Аннушка уже таила в себе какую-то странную тайну. Но девчонка скоро забыла и строгий окрик, и подзатыльник, ела жадно и торопливо, соря на платье и орудуя локтями, и меж тем успевала повиснуть на бабкиной шее, целовала ту и в щеку, и в плечо, тыкалась губами куда придется.

— Баба Фима, у тебя мой халатик. Ой, мама, гляди, у нее мой халатик. Баба, и тебе и не стыдно. А ну отдай халатик,— капризно потянула одежку с Серафиминого плеча, показывая на посмотренье дряблую старушечью шею и застиранную мужскую майку. Девчонка часто и нервно смеялась, щеки клюквенно налились, и белки глаз зарозовели: видно, что-то отпустило, соскочило в ее крохотной душе, азартно распалилась она от всеобщего внимания, и сейчас Аннушка вся дрожала в болезненном нетерпении. — Дедо Хрыся, чего она мой халатик... Это как понимать, что у нее мой халатик. Это, значит, бабуся в землю уходит?

— Совсем стопталась,— грустно согласилась Серафима и, покинув стол, зашаркала в свой угол, задымила там, затабашничала, часто сплевывая в жестяную консервную банку и слепо глядя в потолок. Последние Аннушкины слова отчего-то смутили меня, и я невольно пригляделся к Серафиме и внучке ее, улавливая их общность: тот же узкий покрой плеч, сухонькие длинные ноги с крутыми икрами, слегка искривленные в коленях, высокая шея с глубокой ложбиной над позвонком. Только одной шестьдесят девять лет, а другой — девять. За столом тянулся необязательный разговор, каждый переживал свое, а мне вдруг ослепительно подумалось о времени, как о чем-то враждебном и непостижимом... Ведь когда мы зачинаемся в чреве матери, наше время не равно нулю, ведь мы начинаем жить, наверное, от какой-то иной границы, и, пока мы не родились, наше время безмерно, но старимся мы — и наше время идет вспять. Выходит, что, родившись, мы живем не вперед, а назад? И снова из чего-то законченного целого человек уходит в тлен, в прах, он снова возвращается в лоно большой природы и распадается в нем, но он уже никогда не превратится в семя, способное поднять нового человека. Так, может быть, семя живое древа, злака и зверя, и человека, где все так гармонично, где все слито воедино, где время прошедшее, настоящее и будущее в одной кожурке, где скоплена такая взрывная энергия, где определены и скроены все качества человека, его натура и обличье — это и есть совершенство, к которому стремилась природа?! И это ли не самая изощренная форма сжатого времени? Серафиме шестьдесят девять лет, и она вновь будто девочка, а внучке — девять, и вот на каком-то временном состоянье их пути пересеклись, но самое-то грустное, что Аннушка, двигаясь вперед, возвращается в то же самое время назад, в невозвратное состояние. А может, и все мы возвращаемся назад одновременно, только разными тропами и не видя друг друга, чтобы не устрашиться? Боже, что за бред вдруг навестил меня...

Тут Аннушка, видно, снова что-то натворила, и голос Настасьи вернул меня в застолье.

— Уймись же наконец. Что я сказала! — вспылила она и турнула дочь из-за стола. — Тебе же нельзя так возбуждаться, ты, Аня, держи себя в руках, тебе же девять лет,— закончила женщина уже вяло и виновато, словно бы обессилела от своих слов. И, почуяв слабину в голосе и податливость, Аннушка вскочила гневно и с убийственным презрением глянула на мать из-под круто загнутых ресниц, закричала с наигранной слезой и страданием в голосе:

— Чего гонишь дочь свою? Что такое она сделала?

— Уйди и чтобы я тебя не видела,— внешне сурово попросила мать, едва скрывая улыбку. Аннушка фыркнула и с треском захлопнула дверь в горницу. — Тоже мне артистка,— сказала Настасья.

— Ты зря Аннушку не нервируй, не дергай по пустяку,— советовала Серафима дочери. — В девке натура зреет.

— Знаю, что не надо бы,— покорно согласилась Настасья. — Но ведь что делает, паразитка, со мною, она же вертит мной как хочет. Она силу надо мною чует, она все мои слабости изучила, и это в девять-то лет, а как дальше?

Застолье, не наладившись толком, неожиданно расклеилось, каждый жил сейчас в своем миру. Хозяин что-то бубнил свое, черный рот запекся, вовсе пропал в серебряной щетине, и слов, частых и рассыпчатых, невозможно стало разобрать. Да и не

слушал никто поначалу, всем было не до Хрисанфа, но голос его постепенно настраивался, кашель и бульканье стихали, звуки становились чище, а слова разумней.

— Ну, опять поминальник завел,— ехидно пробовала перебить Серафима из-за двери.

— А я не тебе говорю. Я, может, Тимофею Ильичу, а ты помолчи. Взяла моду перебивать.. Ты выше дедка своего по роду кого помнишь? Не-е... Так закрой лавочку, если от некошного мужичонки пошла. Наше дерево не вывернуть, не-е, оно сквозь землю пронзило. Я-то еще прапрадеда Ваню помню, от него и пошли нынешние Крени.

...Ваня имел самое первое в Вазице ружье, вот как давно то дело было. Пульки, сказывают, зубами жевал и метко стрелял, зря порохового заряду не переводил. А как остарел, ходить в леса тяжело показалось, но страсть на охоту не покидала, и потому родовой путик не бросал. Жёнка его Степанида схитрилась: ствол восьмигранный сымет да дедке на плечо ложе одно и повесит, вот тебе забава, шагай баженый. Так и шатался старый по лесу, с одной деревягой, словно бы с ружьем. Вспоминают, часы носил в кармашке до самой смерти; головка-то у часов стерлась, и пальцы онемели и затвердели, так после тысячками заводил...

Да, на чем же я застрял, дай бог памяти. Ваня-то, значит, прожил сто лет. Когда женился он, ну в молодости, разумеется, то за столом колдун сидел, вежливый по-нашему. Тогда без колдунов на свадьбах не обходилось, это охранитель был свадебный и первый человек. Ну, а тут вдруг еще колдун явился, незваный, наверное, хотел свадьбу расстроить, порчу навести на молодых. Тот, кто сидел, охранитель-то, и говорит тогда: «Выйди вон и не порть свадьбу, и стань у столба, где кони стоят, как будто конь ты». Ну и, сказывают, вышел незваный-то колдун, встал у кольца коновязного да так и пробыл, пока свадьба двое день шла.

Жена-то Ванина, Степанида, на девяностом году померла. Четырнадцать лет сидела скорчившись, голова к коленам будто присохла, разогнуться не могла, и спала скорчившись, а как умерла — так и выпрямилась. Бывало, полежит минут десять и уж зовет: «Дедо, поверни меня». Умерла, а Ваня-то столетний на шестой день поехал было к сыну в Город и тут увидел жену во снах. Она говорит ему: «Дедо, ты почто от меня уехал?» Он скорее домой обратно, у него душа-то, значит, не на месте, она у него стронулась, в предчувствие вошла. И как в дом-то ступил Ваня столетний, тут его паралик и разбил, а через день и умер. Вот какой был Ваня столетний, всем Креням — Крень, говорят, медведя брал на рогатину. Я еще рогатину ту видел на повети, так держак-то с мою руку, такой толстенный. И не убойся: медведь на тебя так и рёхает, а ты рогатину к сердцу направь звериному, не убойся, не дрогни, да и подседь под тушу эдакую, насади на нож без колебанья. Тут душу надо иметь, ой надо.

А уж от Вани было два сына: Проня и Кона — оба хромых, один на праву ногу, другой — на леву, оба лесом жили, охотой затравлены...

— Ты бы помолчал, Хрыся. Ты бы сменил пластинку, верно? Добрый человек с дороги, он небось баньки хочет,— не удержавшись, все-таки перебила Серафима: ей бы тоже поговорить хотелось, да, знать, время еще не пришло, а уж больно хотелось выспросить старой про Вазицу, как живет-поживает она, да и про подругу вековечную Юлию Парамоновну тоже не терпелось вызнать. Но так положила про себя Серафима, что выберет время другое, когда старика не будет возле, и все тогда выведает у нежданного гостя. И от нахлынувшей радости, забывшись, на мгновение посреди кухоньки, взмахнула Серафима ручонками, на которых кожа тряпошно отвисла, и воскликнула: «Ой, как хорошо, Тимоша, что ты приехал, верно? Ты доложи нам, как догадался приехать, милый ты мой, разлюбезный»,— и, не дождавшись ответа, вернее, не ожидая его, скрылась в горнице. Там послышалась сразу какая-то возня, заливистый дробный смех, «ой, не щекоти бабку слепую, до греха доведешь», дверь распахнулась, и Аннушка проскочила через кухню.

И Хрисанф тут же пропал, наверное, ушел в Слободу смекать вина, видно, припасенной загодя бутылки не хватило.

В притвор двери виделась широкая кровать, на краешке ее сидела Серафима в тонких спортивных брюках и мужской белой майке; она мостилась прямо и напряженно и то ли туманно что-то пробовала выглядеть на потолке, то ли прислушивалась, что творится на кухне. Вдруг протяжно, с нескрываемой тоской, прорвавшейся наружу, вздохнула: «Ой, не приведи господи кому остаться слепым». И тут же ровно, точно парализованная, повалилась в постели, руки высвободила поверх одеяла, но, знать, что-то не лежалось ей нынче, и Серафима неожиданно приподнялась, потянулась рукою к стене, где висела балалайка, и щипнула струны.

— Надо будет заново перетянуть, звук сел. Раньше-то ой играла, даже физкультуру проводила под балалайку. А теперь слух стал сдавать. — Старушка, наверное, улавливала чутким ухом, что к ней прислушиваются, за нею наблюдают, потому говорила громко, словно настаивала, чтобы и я подал голос.— Ой, Тимоша, успевай, пока в силах, потом уж мох будет появляться в голове. Я-то чую, как у меня мох в голове зародился, так и щиплет голову, волоса подымает. Вот и дед меня нынче дурой обозвал, значит, дура и есть... А кто он предо мной? Да он бык необкладенной. — Серафима дробненько хихикнула и тут же оборвала себя. — А как там школа твоя?

— Да никак, Серафима Анатольевна. Семени мало, семя не туда проросло, тетя Серафима. Нынче едва на четырехлетку набрали, а прочих к вам, в Слободу, в интернат. Я же в отставку подал, до пенсии велели подождать, и я в лесники... По этому случаю вызван в Слободу для начального познания новой службы,— грустно закончил я, едва не задохнувшись от длинных и неискренних слов. — А впрочем, неожиданно рад, что так случилось, что расстался со школой. Самому бы не уйти, тянул бы лямку сквозь зубы, жизнь проклинал. А тут...

— Ну чего ты передо мною вертишься. Я ведь тебе не судья, верно? — упрекнула Серафима, не дослушав моей словесной канители. — Ой, что же это я? Не все процедуры еще сделала. — И она затаилась за дверью возле печи, жадно закурила и, ничего не спросив более, заслонилась от меня дымом. Да и, откровенно говоря, устал я за долгий докучливый день и, не дождаясь более случайного вопроса, за которым мог бесконечно продолжаться наш изнурительный разговор, поспешил скорее на волю.

Настасья, видно, уже успела уложить дочь в сараюшке и сейчас одиноко, понуро коротала вечер на стертой колоде, заменяющей крыльцо. За все время, пока я был в доме, она больше ни разу не взглянула в мою сторону и не попыталась заговорить, словно бы я неприятен оказался ей. Вот и сейчас, на мгновение подняв печальные глаза, она не предложила посидеть возле, не ворохнулась, а снова утопила подбородок в подол платья, туго натянутый на колени. Во мне было вспыхнули поначалу неловкость и раздражение, я хотел сказать что-то колкое, но сдержался, а не сумев уйти сразу, невольно задержался чуть поодаль, обвалившись на поленницу. Вечер родился сегодня необычно темен и душен, хотя стоял июль, самое время серебристых белых ночей, когда душа успокоенно отдыхает, наполняясь светлой грустью и ожиданием добра; а тут вот наползли фиолетовые тучи, взгромоздились тяжело, порой в подугорье тревожно играли сполохи, легким влажным ветром потянуло с реки, извещая о близком дожде. Давно ли будто мне хотелось помолчать в одиночестве, постоять возле изгороди, а тут вдруг при виде Настасьи, горестной и понуренной, потянуло вновь на разговоры, откровенные и долгие.

— О чем вы думаете сейчас? — спросил я хрипло, точно пробуя голос.

— О смерти,— спокойно откликнулась Настасья и брезгливо посмотрела на меня. Этот равнодушный ответ смутил и сбил с толку, все слова потерялись куда-то, мне стало страшно не столько этих слов, а того, как было сказано, голосом усталым и безвольным. Во мне сразу все загорелось, и я заторопился помочь женщине, хотя понимал, что мои суетливые слова бесцветны и раздражающи.

— А вы постарайтесь не думать. Вы просто не думайте...

— Но я всегда думаю о смерти,— перебила Настасья, вроде бы уже знала, что я скажу далее. Я подумал, она смеется надо мною, всмотрелся подозрительно, но вид ее был грустным и искренним.— Вы не бойтесь, Тимофей Ильич, я жизнелюбива, в омут не брошусь и в петлю не полезу. Но я всегда думаю о смерти, и это мне не мешает жить. Я пробовала однажды отвязаться от таких мыслей, они действительно странны... Вы не находите, Тимофей Ильич, их некоторую странность? Да, я пробовала однажды забыть их, но знаете ли, это трудно и скучно, словно бы во мне что-то сразу нарушилось... Вот как будто половинка меня осталась. Бывало ли с вами, Тимофей Ильич, вот вы лежите в постели, но будто не весь лежите, а только половина вас. Ну вроде этого. Занятно... И так становится тошно и неловко, что всего себя не чувствуете, и хочется сразу всего себя вернуть.— Настасья вспыхнула, распалилась скоро, словно бы ей давно хотелось поговорить об этом, но не находилось чуткого человека, и потому она тяготилась своими думами и болела от них, и оттого столько печали наслоилось в ее угольной черноты глазах. От слов своих, брошенных несколько холодно и высокомерно, она и сама вся приподнялась, и тяжелые волосы порывисто откинула назад, обнаружив вдруг высокий лоб, великоватый для ее лица.

— Когда я ушла от мужа, все против меня сразу: ты разрушила семью, завопили, ты разрушила семью. Но я-то вижу, что им на меня наплевать. Им лучше, чтобы я скурвилась, а я не-е. По-ихнему, ты лучше гуляй, ложись подстилкой, но семью не рушь... Не терплю насилья, слышите? Не терп-лю. Если люблю — все стерплю, кроме жалости и насилья. Не надо меня жалеть. Если кто надо мною волю выказывать будет, того и убить могу. Да-да, могу запросто.

— Сразу уж и так? Любо-пыт-но,— протянул я, скрывая растерянность, да и как тут было не растеряться от подобных гневно выплеснутых слов. Не знаю, куда бы повернулся наш внезапный разговор, под мглистым напряженным небом, под всплески длинных зарниц, в ночи, напоенной приторным, сладким духом зреющей крапивы, ждущей пенного дождя, если бы из сараюшки не выметнулась вдруг Аннушка, вся дрожащая и в слезах. И сразу наши слова, будто бы полные суеверного смысла и глубины, забылись. Аннушка, как привидение, скользнула из сумрака двора в белой пижамке и, прижавшись к матери, запричитала непритворно и горько, вдруг впервые за весь день став просто ребенком:

— Мама, я не могу спать, мне страшно.

— Отчего тебе страшно? — Настасья еще не остыла от недавнего признания, и сейчас жалобные слова дочери не трогали ее.— Отчего тебе страшно? — холодно переспросила она, трудно освобождаясь от разговора.

— А кто-то дышит в лицо. Мне старая женщина говорила, что, если снится, что дышат, значит, кто-то умрет.

— Верь всяким... Мало ли чего наговорят тебе. Ты думай о чем-либо хорошем. Ты большая девочка, тебе уже девять лет.

— О чем хорошем? У меня пусто в голове.

— Это тебе добрый гном с голубыми глазами дышит, наблюдает, чтобы тебе спалось хорошо, чтобы тебя никто не обидел,— неожиданно вмешался я: детские искренние слезы все разом перевернули во мне.— В каждом доме есть домовой, хозяйнушко такой, бородатый, мохнатый, ушастый, с добрыми глазами... Он наблюдает за нами, не веришь? — Я поймал себя на том, что опять не туда повернул, и скорее скомкался. Аннушка плакать перестала, прислушалась к неожиданным и непонятным для нее словам; днем бы, конечно, она привязалась ко мне, пристала хуже смолы, расскажи о хозяйнушке, да откуда берется он, да где обитает. А тут она грустно посмотрела на меня проваленными темными глазами и, дрожа, наверное, от пережитого, зарылась в материн подол.

— Мне страшно, там кто-то дышит,— снова заныла она, уже более спокойно, играя голосом и выжимая слезу.— Дышит так: у-хр, у-хр. Я открою глаза — никого, закрою — опять дышит.

— Ну чего страшного, господи? Ты должна собой руководить. Не могу же я все около тебя...

— Мне страшно, мама. Ты полежи рядом.

Настасья поняла, что канительный разговор нескончаем, сдалась на уговоры и, не прощаясь со мною, вроде бы забыв меня сразу, увела дочь в сараюшку. Слышно было, как мостились, укладывались они, как скрипела пружинами старая кровать. Аннушка уже смеялась игриво, приставала с вопросами: «Мама, а если хозяйнушко явится, как мне поступать?» — «Спи давай,— нервно и устало оборвала Настасья, но сразу же спохватилась, помягчела голосом, сквозь сонную одурь хрипло затянула:— Бай-бай Аннушку, бай-бай маленьку. Уж ты кот-котачок, приди к нам на денек...»

Серафима лежала в постели плоско, как покоенка, она не дышала, и все лицо ее, пепельно-серое в ночи, заострилось; постоянная улыбка стерлась с невзрачных губ, и строгим, хмурым вниманием было полно застывшее обличье, будто бы и сейчас пыталась старенькая выглядеть что-то тайное взору. Спала она так бесплотно, что я поначалу испугался, не померла ли: ни стона, ни вскрика, и только порой что-то в груди отворялось и мерно булькало, наверное, уходила последняя жизнь. И снова я спохватился, удивляясь себе: почему я не ложусь на покой, словно чую и жду беды... Я лениво повалился в постель, едва раздернув одеяло, и меня сразу повлекло, закружило сладко и желанно.

Но среди ночи я внезапно пробудился со странным ощущением, что проспал все на свете, уже на дворе день-деньской и давно пора вставать. Я открыл глаза, какое-то время еще плохо соображая, где нахожусь, и в проеме двери увидал щупленькую фигурку Серафимы. Сзади в спортивных штанишках и в майке, сползшей с одного плеча, в катанцах с высокими твердыми голяшками, покрывающими колени, она походила на подростка. Полуночница суетилась у стола, била, валяла, колотила кулачонками, плечики ее подпрыгивали, ходили выпуклые лопатки, тряслась седая головенка — с таким горячим азартом обхаживала Серафима тесто. Пахло кислым, дрожжами, хорошо взошедшей опарой, значит, от этого хлебного духа я и очнулся средь ночи, когда воздух, еще паутинчато-серый и зыбкий, все окрашивает в тусклые грязные тона. Но когда поставила Серафима закваску — я не слыхал: знать, сколько выспала старенькая с вечерней поры, сколько схватила покою, пока не заявился дед,— вот и весь сон. А после, видно, замечталось ей свеженького и пухлого печеного с утра поесть, и она, снявшись с постели, занялась стряпней, и, наверное, уже не раз вскакивала с кровати, чтобы не прозевать его, лазала на печь, сослепу рискуя каждый раз свалиться с приступка, ибо все думалось, а хватит ли тепла ночного, и кастрюлю обкладывала фуфайками, и после снова привадивалась к дедову боку, уже не смыкая глаз, потому как внезапно новые тревоги навещали: мерещилось, что теперь лишку тепла, и тесто скоро и буйно выходило, шапку нахлобучило набекрень, тихо посапывая, ноздрястое, шадроватое и пузыристое, скрадчиво крышку сняло с кастрюли, выплеснулось, поползло толстою шкурой по пыльным затертым кирпичам. А потом-то скобли его ножом, скобли на посмешку мужу да в корм соседским свиньям. Нет уж, лучше не доспать, лишний раз с кровати соскочить. И вот сейчас воевала Серафима с белым тестом, мяла, раскатывала его по доске, притопывала, кидала, вертела, закручивала, с хлюпаньем выдирая слабосильные кулачонки, потом отщипнула мякишек, долго жевала, задумчиво повернувшись к печи, и по кроткому выражению ее лица я понял, что тесто удалось.

С этим тихим видением, словно бы почудившимся мне и внезапно напомнившим детство, я и ушел обратно в сон, глубокий, как бездна, и впервые за многие последние годы — летал. Низко летал, но странно. Будто бы раскручивал руки над головою, и тут что-то во мне отымалось, тело как бы ссыхалось, теряя грузность, наполнялось воздухом, и я плавно отрывался от земли и парил какое-то мгновение. Но каждый раз вознесение над землею мне казалось случайным и коварным, чей-то дремучий голос окрикивал меня сзади и смеялся шально, и я, чтобы деться от назойливого голоса, вновь и вновь вращал руками до боли в плечах, но взлетал все тяжелее, словно бы терял оперенье, а кости мои заполнялись песком и тягуче ныли. И все-таки душа пела от краткого полета, и потому к земной жизни я возвращался неохотно, еще сладко томясь и продлевая забытье. Мне вдруг показалось, что кто-то смотрит на меня и жарко дышит, и чужое навязчивое дыхание встревожило меня. Я пугливо открыл еще беспамятные глаза, разлепил ресницы и увидал близ самого лица редкие с желтизной кудри, сквозь которые просвечивал череп, кустом наросшие брови и спекшиеся черные губы, со свистом пропускающие перегарный воздух. Лучше бы лешак приснился, баенный хозяйнушко, сначала подумалось раздраженно, но на широкую улыбку Хрисанфа и во мне невольно стронулась тяжесть, душа колыхнулась, и я ответно улыбнулся и решительно поднялся на подушках.

— Ну как спалось, как ночевалось, Тимофей Ильич? А я вот вчера надрался, как собака,— сокрушенно сказал старик и снова широко улыбнулся, присел в ногах. — Ну и спать. Не на пожарника, случаем, сдаешь?

Я отмолчался, прислушался к себе и вдруг понял, что со мной за прошлый день что-то случилось, вроде бы ласково разгладили меня изнутри колонковой кистью, и боль, такая надоедная, постоянно сосущая черева, вдруг неслышно пропала.

— Давай в дурачка сыграем? — предложил Хрисанф, и не успел я отказаться, как он, часто мусоля деревянные пальцы с заусенцами, неловко разобрал карты и раскидал по одеялу. Из кухни выглянула Серафима с чугунной ступкою в объятьях, пригрозила пестиком мужу:

— Я тебе покажу карты. Рехнулся? Иди куда ли на волю.

— Цыц, бабка. Не суйся,— проскрипел Хрисанф

и метнул на жену хмурый взгляд. — Не твоего ума дело.

— Наверное, побольше твоего понимаю? У тебя голова только на пьянку построена. От пьянки твой котел заржавел больше совсем. Там ума-то на донышке, с гулькин есть ли? Ха-ха,— дробненько рассыпалась Серафима. — У тебя в головизне паук завелся, паутиной все больше заткал.

— Посмейся, вот уж посмейся,— прошептал Хрисанф. Старушка напряженно вслушалась, выставив ухо в притвор двери, но слов ответных не разобрала и снова мерно забрякала пестиком. — Ну, Тимофей Ильич, держитесь, я под вас рыжей девкой пойду, а вам ее не покрыть. Такого мужичка не найдется, чтоб рыжую девку покрыть: валет — рылом не вышел, а король — инвалид, у него машинка сносилась. Бери даму, Тимофей Ильич, ишь красуля, в хозяйстве сгодится.

— И возьму... Давно не брал я в руки картишек,— сказал игриво, вдруг вспомнив Гоголя.

— Возьми, паря, да не ожгись. Как бы не остаться при своих пиковых интересах. Они, бабы, ой прокуды, ласково стелют, да жестко спать. Ты бабу-то под свой корень руби, высоко не замахивайся, вот и казниться не будешь... Фимка-то почто надо мной кочевряжится? Оттого, что дураком меня чтет, а своим умом хвалится, собака, да свой мещанский род возносит. Сорок девять лет с ней прожил, а ни одного дня добром не вспомню, у-у. — Что-то жгло старика давно, видно, мучило, и он рад был лишний раз высказаться, освободить душу от тягостного гнета. — Я-то мужик. Я два коридора через матюги кончил, а она — учителка, ей и хочется надо мною подняться, а я ей говорю: фи-га, деревянны деньги, кочерыжка ты, а не баба, да и род весь ваш — недотыки. Братец-то ейный придет, дак ты упадешь от смеху, такой он пимокат и вралина... Было на рыбалку он меня приглашал, дескать, место знаю, рыбы наловим два ведра... Нет, ты слушай, не перебивай, деревянны деньги. Я, говорит, в прошлое воскресенье взял окуня два ведра, такое стадо захватил, окунь, правда, мелкий, с четверть, не больше, но зато с каждого икры стакан... Ну, а если рыбы не наловим, говорит, то корней накопаем два мешка, да напарим, такие ли коренья,— мед, а не коренья. Вот вралина-то... Ну, а на худой конец, если коренья не возьмем, то березового соку нагоним. Я было (врет ведь зараза) привез два ведра да в жбан вылил, сахару добавил, и такая ли брага крепкая вышла, с двух стаканов с ног валит. Из одного-то жбана пробка в потолок — да так и прилипла... Ведь знаю, что врет, собака, ни одному слову его не верю, но так ли красиво заливает, такие пузыри пускает — я и сдался. В пять утра снасти захватил да тару, к назначенному месту явился, ждал-пождал — никого нет, хоть ты лопни. Уж народ на работу повалил, а я как дурачок... Пошел к его избе, в раму колочусь, а он дрыхнет. Выскочил в одних исподниках: ой, прости, да ой прости... Ну, я плюнул на собаку и ушел. И весь род их такой, не род, а рот: от пустого человека, знать, пошел на пустое и вышел... Это не Фимка, это я своим родом могу похвалиться. У нас все железо по железу шло, народ строевой да корневой. Хоть и меня возьми. — Хрисанф приосанился, когда-то голубые глаза, а ныне студенистые, с частой кровяной прожилкой, сразу набухли и выкатились, сивые брови торчком, улыбка длинная, до ушей и удивительно детская, как и все обиды его.

Играть в карты я скоро отказался, да и к чаю позвали, а Хрисанф все так же сидел с краю кровати, жевал язык. Я мельком глянул в зеркало, боясь увидеть отекшее противное лицо с синими подглазьями и серые щеки с проступившими порами, но, может, свет солнечный, проникая в горницу, так рассеял воздух, такие искусные тени соткал, что я поначалу и не узнал себя в жемчужном зеркальном полотне: там парнишка выглядывал на меня, вовсе молодой, благорастворенный, иссиня-черные волосы распадаются на два крыла, открывая ровный пробор, в коричневых, слегка вытаращенных глазах родился живой блеск, и в глубине зрачков крохотные свечечки зажглись. Кто это, и неуж я отразился? И даже развесистые, побелевшие от долгого сна губы не портят ныне моего обличья.

К чаю-то позвали меня, а на кухне, однако, еще не пришей рукав, стряпня в самом разгаре. У Серафимы, как живые, бились под байковым халатиком острые лопатки; она с раннего утра, как заведенная, не вздохнула еще, не передохнула, и сейчас вот, высунув от усердия язык, что-то взбалтывает деревянной ложкой в большой миске, порой палец окунает и облизывает, пробует на вкус свое творенье. «Тимоша, мы вот видишь как... С Настасьюшкой-то раздумались да и решили: гость в доме, а у нас корка сухая, верно?» Настасья у печи орудует помелом, у нее все ухватки домовитые, бабьи: обернулась с веселым вызовом, вся расцветшая от печного жара, слегка шальная и захмелевшая от огневой дури, и на упругих щеках две вдавлинки тоже заполнены зоревой водицей.

— Тимофей Ильич, вы ручки-то склали? — уколола Настасья. — У вас ручки-то золотые?

— Ты, девка, что? Он ведь гость,— притворно возмутилась Серафима и засмеялась. — Фартук-то Тимоше, наверное, хорошо пойдет. Он ростику маленького, верно? Он как девушка будет, как дочка мне.

Настасья, не слушая мать, ловко окрутила меня полотенцем, посадила к мясорубке молоть картошку, и я, как теленок, готовно подчинился.

— Нынче хлеба лавошного не хотят, вся Слобода в субботу свое рукодельное ест. — Серафима споткнулась, задумчиво пожевала, слиняла лицом, уставясь в распахнутое зеленое окно, за которым оглашенно пела воля. И Серафима согласно и тихонько подтянула: «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит. И много простора, и много свободы, луч солнца у чайки крыло золотит...» А смешно сказать: друг у дружки бабы секреты воруют. Соседка забежит, будто бы за крылом, листы подмазать нечем, а сама глазищами сверкает... Кажноденного-то сортов пятнадцать пекут,

шаньги всякие да пироги — это в каждом доме безвыводно, к чаю подавают. А другие мастерицы по праздникам к кофию одних сдоб только сортов тридцать вынесут на стол. К каждому празднику своя стряпня, рождество ли, пасха, масленица, именины возьми. На именины, когда с глазами была, и я пекла: вот крендель с изюмом, это первейшее дело. И чтоб высокий был, пышный. Если крендель не поднялся, то имениннику жизни мало осталось. А если в кренделе пустота, значит, умрет человек. Если крендель неудачный, вот и изворачивайся, охай-ахай. И этот не выбросишь, жалко ведь добро переводить, и на торжество не покажешь... Наверное, сбывалось, раз такое из века шло, верно? — Серафима задрала бровки, прислушалась к кухонной суматохе, вздохнула. — Не-е, зря-то не стали бы выдумывать. Иногда чудно: печется крендель, в гору подымается, и вдруг — пых, и сядет. А еще пекла я торт наполеон, пряник черный с начинкой, пряжье, калачи сдобные, ромовки, песочники, варенички, розочки, пирог с семгой, с палтусиной, с вязигой, с нельмой и обязательно с треской и яйцами, безе, ватрушки сдобные, пирог ягодный, печенье сахарное, хворост, пряник мраморный, слоеное, трубочки, торт мятный. Задохнешься, пока выговоришь. Да всего и не перечислить. И без кулинарных книг. И что мне любопытно всегда: отъедь от Слободы за десяток километров в соседнюю деревню — и ничего на стол не подадут, кроме шанег картофельных...

— А я люблю картофельные шаньги. Мне ничего и не надо другого,— сказал я, чтобы только привлечь Настасьино вниманье. Но она не оглянулась, занятая у печи своим делом, терпко раскаленная жаром, но легкая, веселая в работе, красиво поставленная на ровно скроенные ноги; да и все-то у Настасьи — грудь ли, шея, ямочки на локтях — было слеплено не то чтобы изящно и тонко, но зато женственно и приманчиво своей здоровой плотью, которой была не тягостна утомительная бабья стряпня. Вот и первые шаньги возникли, золотисто сияющие, с медовым румянцем с исподу, выкатились из печи под полотенце, источая дразнящие ароматы, и так вкусно сразу запахло в кухне, что все прочие житейские запахи отступили и потухли — и сразу захотелось есть. Такой силой обладает хлеб, что он как бы молодит человека, отымает у него прожитые годы, ставит его на ноги, даже самого больного, и от одного лишь взгляда на веселую стряпню душа начинает тихонечко гудеть. А если картофельную шаньгу, еще таящую в глубине своей ровный жар, да погрузить в топленое масло — изнутри морошечной желтизны, а сверху слегка вспенившееся — и после, слегка помешкав и впитав в себя этот сытный дух, да отправить в рот и неспешно раскушать, то словно бы нектаром смажут твои черева, и этот плотный здоровый вкус разом заполнит тебя всего и возвеселит. Вот почему в застолье у русской стряпни я не видал ни одного скучного человека, и даже самый болезный, страдающий недугом, коему не назначена такая выть, только напитавшись дурманящим духом, какой отдали добрая печь и бабья душа, шелковая мучка да дрожжевая подъемистая кислинка,— даже он зарумянеет, и пусть на крохотное мгновение, но оттает его тоскливый взгляд. Да если еще молодая стряпуха правит застолье, близкая твоему сердцу...

— Ну и вкуснятина. Ты у нас, мама, самая мастерица на всем свете,— с жаром воскликнула Аннушка, ломая шаньгу и уплетая с таким восторгом, что за ушами пищало, но вместе с тем и не забывала ногами мотать в подстолье и локтями орудовать. — Ты у нас из всех мам самая ловкая мама,— сказала льстиво, стараясь заранее задобрить мать, но в то же время и полная любви...

— Ты-то уж помолчи. Может, и есть вовсе нельзя...

— Да не едим хлеба мягкого и горячего, да пускай переночует. Ибо от него многие стомаховы болезни рождаются,— отчего-то вдруг вспомнил я и, виновато улыбнувшись, скорее поправился, чувствуя неловкость сказанного: выходило невольно, что я как бы хулил стряпуху и ее стол. Настасья сидела внешне задумчивая, но по рассеянному взгляду ее и смутной улыбке чувствовалась внутренняя лихорадка, томящая и пугающая ее.

— Вы чего-то сказали, Тимофей Ильич? — вернулась Настасья на землю. — Аннушка, будь человеком, Христом прошу. Дай людям хоть сегодня спокойно посидеть,— нарочито взмолилась.

— Все правильно написано. Хлеб толстый, ковригу жаром не прохватит всю сквозь, дух тяжелый в мякише долго сидит. А в нашей-то стряпне корочка тонехонькая, да на масле, да на ровном жаре — это одна польза. Шанег-то горячих, помню, намачешься, так потом весь день как в бане ходишь, из тебя тепло так и прет,— смиренно говорила Серафима, вся масленая, ублаженная. — Дедко, ты где? — вдруг закричала. — Ты что, голодовку объявил?

— Дед вином сыт,— съехидничала Аннушка, наверное подражая старшим. — Ему бы опохмелиться.

— Ты вст большая, а мелешь ерунду,— пробовал я внушить Аннушке уважение к деду. Но, наверное, от шанег голос мой был тоже масленый и сытый. — Ты была такой крохотной, что аист едва отыскал тебя в осоте, когда принес и подарил маме. Зря, наверное, мама согласилась.

— И врешь, и врешь все. Меня не аист принес, вот, и не в капусте нашли. Я тоже буду мамой,— ответила Аннушка, пристально взглядывая, наверное, чтобы узнать, нет ли тут насмешки. — Это у вас глаза хитрые, значит, вас аист принес. А у меня глаза грустные, и я вышла из маминого животика.

— Как из животика? — играл я на правах взрослого и, поймав взгляд Настасьи, подмигнул ей нерешительно. — Но ведь у мамы нет живота.

— Когда был, я и появилась. Правда?

— К чему такие подробности? Помолчи,— пробовала остановить Настасья.

— Ну и не скучно тебе было там?

— Ой скучно, так надоело сидеть. Темно, одноко, я со злости ножкой тук маму в животик. Правда, мама?

— Прекрати глупости! А ну марш из-за стола,—

оборвала Настасья, сразу потемнела лицом. Дочь выскочила из-за стола, хлопнула дверью, закричала из горенки пронзительно, со слезой:

— За что меня казнишь? Де-до, защити, они меня убивают, они не дают мне развиваться. Сами шаньги уплетают, а я как собачонка.

Дверь снова распахнулась, осанисто появился Хрисанф, оглаживая щетинистый подбородок, а из-за его спины, не в силах скрыть ослепительной улыбки, выглядывала Аннушка.

— Она убьет меня,— прошептала Настасья.

Серафима очнулась, вдруг спросила в темень, окружающую ее:

— Тимоша, ты здесь?

Я отозвался.

— Значит, школу прикрыли, рожать, говоришь, некому?

А я приехала туда в двадцать третьем году, когда мне шестнадцать лет было. Сегодня себя во сне видела, мне три годика, я в бантиках, на венском стуле, на коленях поднос серебряный с рыбиной, большая такая семга. Рыба — это не к добру, верно? Трех годиков себя увидела, это откуда я взялась такая, если не помнила и не знала себя. А еще видела недавно, мне будто годик, нет, постой, шесть месяцев: меня мама закутала, принесла в избу чужую, там вдруг лампы зажгли, меня ослепило, и я заплакала, так горько зашлась. Много девок было кругом, и они все смеялись.

...Не поверите, но я же самой первой учительшей была в Вазице: школа в крохотном флигельке напротив поповского дома, в одной комнате все занимались. Однажды зимой вот так же сидим, а такой буран, светопреставление, нас снегом и занесло, мы и выйти не можем, хоть караул кричи. Хорошо, женщина пришла за сеном, мы ей в отдушину крикнули, так отгребла нас.

...Как уезжать, помню, отец мне и сказал: «Серафима, куда ты согласилась, никто туда не едет, там же край света». А я на его слова не то чтобы заплакать, так засмеялась. Готова была хоть к черту в охапку, да только от родного дома подальше. Мачеха невзлюбила меня, бабушка старая с кровати не подымалась, пожалеть меня некому. Затерялась я на свете, как пуговка от пальто. Однажды и задавиться намерилась. Встала у лестницы, веревку наладила, а решиться не могу, слезами заливаюсь: «Ой, почему меня мама оставила одну». Хорошо, крестный отец шел, да услыхал, что в темноте кто-то ревет, запалил спичку, увидел веревку, потащил меня с собой, да отца с мачехой и отхлестал веревкой той. Он буйный был в гневе, и его боялись... Семь классов не кончила, месяц на курсах побыла — да и в Вазицу. И хоть бы вспомнила там дом родной, ни разу не вспомнила... Мы тогда как-то весело жили, сами все и придумывали. Пойду, в зарод что-нибудь зарою, карты нарисую, а за ночь снегом все заметет, вот карты раздам ребятам и говорю: ищите. А однажды задумали девчата кудесить и меня соблазнили. Рассыпали мы костер дров, бежим по домам, хохочем, а председатель сельсовета услыхал, с фонарем выскочил. У меня в малице сил нет бежать, я вся запыхалась. А девчата ускакали, мужик-то меня и поймал, да головой в снег поставил и снегу в малицу натолкал. Еле я до дому доплелась, девки впокатушку надо мною, а мне слезы. Наутро в сельсовет надо идти по школьным делам — а мне стыдно. Навек такое запомнишь. — Серафима задумчиво уставилась в потолок, жевала губами, радостно живя в той, далеко отплывшей жизни, и вдруг рассыпчато захихикала, наверное, представив тот рождественский вечер и страх, который пережила она, когда воткнул ее председатель в забой вниз головой и стал набивать в малицу снегу, а ведь штанов тогда не шибко носили: ах ты грех...

Серафима снова дробненько закудахтала, хлопала себя по усохшим бедрам.

Настасья ловко управилась с делами, отхлопотала, а сейчас, еще жаркая от печи и забот, присела возле матери, ласково притянула к себе за плечи, но, однако, не забыла ревниво оглядеть стол — все ли на месте, не упустила ли чего — ведь так старалась родителям угодить. Этим утром ей так захотелось посидеть за столом долго и мирно, без суеты и громких слов, торжественно, не спеша чаевничать у песенного самовара и, отдаваясь этой простенькой утехе и в душе так желанно любя всех, сидящих около, больше ни о чем не думать и ничего не желать. Но не зря же говорится: человек предполагает, а бог располагает, с одного боку горит, а с другого подтекает. Леший вдруг гостью за руку привел именно в ту минуту, когда Настасья и первой чашки не допила, когда только-только душу отпустило. А незваный гость — хуже татарина, не знаешь, как себя повести, да куда его устроить, чтобы поскорее вон выпроводить, чтобы, упаси бог, не засиделся пришелец.

По тому настроению, с каким встретила Серафима, как скисло ее смуглое личико, я понял, что ей-то гостья, словно соль в рану: так защипало старую, так свернуло на один бок, что она потупилась в стол — и ни здравствуй, ни прощай. Зато Хрисанф ожил, засияли его эмалевые глаза, даже сивые кудри, годами не чесанные, загуляли, так вдруг загорелся старик. «Шура, Шура, чаю не хошь?» — повторял он и все табуретку волочил по полу, не зная, как удобнее приставить к столу, и стряхивая с нее невидную пыль. «Да какой чай с утра, я с утра чаю не пью»,— отказывалась гостья; была она плотная, осадистая, с ядреным зоревым лицом, где носик трудно отыскать меж упругих щек, не инкубаторная, не синь-молоко (бывают и такие, что просвечивают сквозь, как банные листики, и даже душу видно, как она едва-едва бьется, сердешная), а из той породы гулевых ненасытных баб, которые с возрастом будто и не сгорают от постоянного телесного жара, и только по волосам, по шестимесячной завивке да по тусклой сетке морщин и можно выведать годы, да и то с большим огрехом.

Шура приводилась Серафиме невесткой, была жена брата Антона, и про нее рассказывали в Слободе всякое и такое, что и сказать совестно (но поди проверь, наколоколят бабы, пустят пулю, не дорого и возьмут, лишь бы ославить человека), правда, то достоверно, будто с Антоном сошлась она через кучемского колдуна лет десять назад: пошла вдовая Шурка к тому колдуну, поплакалась на свою судьбу и на безответную любовь, и присушил колдун Антона к Шурке за зарод сена в шесть промежков, да так неразлучно соединил, что бросил мужик жену свою и шестерых детей, а взял вдову с тремя. И те шестеро, что на стороне, выросли незаметно и выучились, а которые и на должность хорошую встали. Антон однажды ездил смотреть их в Архангельск, когда они собрались на материны именины, съехались отовсюду, грамотные, красивые, и когда отгу-

ляли гостьбу, то объявили отцу своему, дескать, больше не приезжай к нам, ты теперь нам не папа, мы тебя больше не знаем. «Какие жестокие, но так и надо, так меня и надо»,— вспоминал Антон о той поездке и обычно плакал, и с ним становилось дурно. Да и в новой семье не отыскалось ему душевной крепости, та страсть быстро отгорела, жженые листья и уголья раскидало ветром, осталось лишь зольное пятно на былом кострище, быстро обметанном сорной травой: новых детей у них не завелось, а неродные — как-то рано и очень охотно сбились с пути, запили, к учебе не тянулись, а после и разлетелись они по стране без вести, без памяти. А Шурка с легким сердцем вдруг запила, с мужиками заиграла еще лютей, но болезни ее не брали покуда, и частый хмель не старил, только вроде бы на дрожжах разносило ее и все сдобнее, пригляди-стей становилась баба. Не раз и не два средь зимы отыскивал ее Антон пьяную под забором и, закатив на санки, будто мешок с мукой, тянул домой отхаживать. «Сдохла бы, и пускай, чего ее жалеешь?» — в сердцах упрекала Серафима брата, но Антон лишь отнекивался и печально говорил, дескать, вот однажды уже совершил непростимый грех по слабости сердечной, бросив шестерых кровинок своих, и бог его за то наказал страданьем, и надо ему, Антону, до конца дней своих тот грех замаливать...

Привалилась Шурка к стене, поглаживала широкие бедра, обтянутые голубеньким крепдешином, мимоходом и грудь обласкала и всколыхнула, и будто случайно на мне остановила сонный пушистый взгляд. Хрисанф весь извертелся на стуле и про чай забыл, и про застолье, бесстыдно себя вел, желая попасть Шурке на глаза, но та на него — ноль внимания.

— Да, вот что,— закричала вдруг, спохватившись. — Иду к вам, на заулке Анька играет и мне-то... Ты, говорит, Шурка, б...— Гостья пробовала раскатисто засмеяться, но всколыхнулась — и затихла, видно, воздуху не хватило: знать, не долго ей осталось гулять. — Я ее поймала, заразу. На вид — синь-молоко, лядащая, в чем душа только, а такая лешачиха, как молотами сбита, столь туга. Мне и не совладать... Ну дети пошли, Хрисанф Алексеевич, тебе такую внучку бог послал, живо все слова выучила... Ой, лешаки окаянные, — притворно иль душевно вздохнула, и последние слова ее были пронизаны искренней печалью, видно, вспомнила вдруг о сыновьях. — Ради них и живем, а они?.. Много-то не надо, куда с има, а одного дитеша надо. Без них и жизнь-то неинтересна, без зараз лешовых. Я к вам вот зачем шла. Антошу моего не видали? Пошел — и как в воду. — И она впервые особенно взглянула на Хрисанфа, и в глазах ее мелькнуло блудливое и приглашающее, дескать, не мешкай, старик, ухватывай, пока свободна, пока безнадзорна. — То дак пасет дедко, шагу не ступить, а тут, как помер,— снова засмеялась и лениво пошла к двери, оставляя после себя запах пота.

— За сучонкой-то не убежал следом? Чего застрял? — тихо спросила Серафима и, словно убоявшись внезапного мужнего гнева, скорее убралась в свою норку за голубенькую дверь, прикрылась ею и закурила порывисто.

— Иди, ну, иди, кочерыжка тоже. Чего скрылась, ты слежку устрой. Тьфу на тебя,— сплюнул Хрисанф, но не успели супруги по обыкновению начать перепалку, как новый гость явился. Как я узнал после, это и был Антон, с утра искавший жену.

— Моей-то у вас не было? — с порога спросил он и сразу повернулся спиной, готовый так же тихо раствориться в сенях.

— Это ты, братец? Да только вот была, запах не изветрился сучий,— остановила Серафима, слепо выглянула из-за двери. — Попей чаю-то, охолонь, голубеюшко... Ой, мужики-мужики, и на кого вы заритесь.

— Тебя не спросили,— отозвался Хрисанф, а брат промолчал, остался у ободверины, косо опершись на нее и отставив ногу, сам нервный и трепещущий; на его дубленом, словно бы до самой кости изглоданном изнутри лице язвенника только один пепельный глаз светился ласково, а другой, затянутый белой птичьей пленкой, был неровно и неплотно прикрыт веком. Антон все время норовил встать боком, показывал здоровую половину лица и при этом постоянно дергал головой, будто бы пришивной,— это и поныне отзывалась застарелая фронтовая контузия.

— На рыбалку не собираешься? — ласково спросил Антон, не глядя на Хрисанфа, и рукой манерно, по-женски взмахнул.

— С тобой-то не-е, деревянны деньги,— ядовито протянул Хрисанф, намекая на тот случай, когда шурин обещал на окуней сводить и так неверно поступил. — С тобой-то, товарищ дорогой, я связался, дак и забыл нынче, как рыба пахнет.

— Не можешь — не берись, так скажу. А я без рыбы и мяса не сижу,— прихвастнул Антон. — У меня еще прошлогодней два ушата, да весенней щуки два ведра малированных... Я было два журавля убил в мае да отеребил, дак Шурка, баба моя, в печь палить засунула, а обратно из устья едва вытянула. Во я каких огромных журавлей свалил оногдысь.

— Ты соврешь и недорого возьмешь,— подмигнул мне Хрисанф, приглашая полюбоваться на такого записного враля. — Он и ружья-то на веку не держивал, а вон чего мелет,— разыгрывал старик шурина и все подмигивал мне, непрестанно и широко улыбался. — Это же с ним было, Тимофей Ильич. Пошел на охоту с лицензией на лося, а убил лошадь. Скажешь, не было? — травил Хрисанф, понуждая шурина к откровенности.

— Ну, было, а тебе чего, радость? Дак то ошибка,— совестно мучился у двери и переживал Антон, часто взмахивал рукою и стеснительно глядел исподлобья здоровым глазом.

— Вот и расскажи гостю, ему интересно знать.

— А какой тут интерес... Ну, значит, пошел на лося, все честь по чести. Вижу в кустах чернеет, я бах — и наповал. Вижу — лошадь повалилась в оглоблях. Ой горе, хоть прирезать бы. Только нож

вынул, а хозяин сзади с топором бежит. Снег высокий, я в ноги ему кинулся, верное дело, тот и упал. Только и спасло. Ну, заплатил за лошадь пятьдесят рублей да за лицензию двадцать... С кем не бывает, но вы уж, Хрисанф Алексеевич, меня да сразу позорить при госте. Я, конечно, если судить по высокому тону, то не вам ровня. Я по охоте да по лесу себя не возвышу. Но только я чужого оленя не убивал тайком, как вы, да не крал, да валенки задом наперед не надевал, чтобы следы запутать.

— Ох, и ловок, ну и языкат, меня, беззубого, как заговорил,— отвернул в сторону Хрисанф и сразу невнятно загугнил, сморщился, вроде совсем язык потерял, но сам втайне помрачнел и сивые кудри сбил на глаза. Только дочь Настасья была неожиданно спокойная сегодня, и добротою светилось ее скуластенькое смуглое лицо. Шурин прощально и нелепо взмахнул рукою и боком выскользнул в сени, а когда заглохли на заулке его шаги и в кухне впервые за утро установилась тишина, Настасья предложила вдруг пойти к реке:

— Мама, ты наденешь новый халатик,— сказала она,— я тебя наряжу, как куколку, я тебя накупаю в реке, голову тебе намою, а то ты, как серенькая мышка-норушка. — И впервые я услышал, как она смеялась, запрокинув голову, заразительно и освобожденно, и все же печально.

— Может, и ты с нами, Хрисанф? — робко попросила Серафима и попыталась погладить мужа по груди. — Всеми и пойдем, верно? И Тимофей Ильич с нами, как хорошо.

— Я не-не... Ты с ума сошла? — испуганно замахал руками Хрисанф. — У меня не с ваше забот.

Серафима сразу поникла, заугрюмела, обиженно опустились губы. Она скрылась в горенке и там долго и слепо, не дождавшись дочери, рылась в большом сундуке с резными косячками и с пружинной крышкой, из которой торчал навсегда застрявший ключ, и швыряла на пол кофтенки и платья, еще старого покроя, великие ей нынче, пока отыскала розовый халат, пахнувший нафталином. «Он сейчас напьется и к сученке своей. Мы уйдем, а он, собака, только того и ждет»,— бормотала она, готовая зареветь. Я случайно оказался возле окна и сейчас неслышно стоял, не решаясь уйти, чтобы не выдать себя, слышал ее ревнивые предположения, но мне отчего-то было жаль их обоих.

Река пела под солнцем и серебряно светилась. Она показалась неожиданно, сразу вошла в меня, покорила и ослепила. Все житейское откачнулось, и я словно бы вернулся в детство. Даже самая зачугуневшая душа, наверное, встретившись с рекою, невольно заскорбит поначалу, а после тоскливо и маетно заворочается, затрепыхается и вдруг вскинется под самое горло от детской радости. Такая сила у вольной просторной воды.

Я от одежд желанно освободился, словно от изношенной кожуры, недоумевая, отчего столько дней жил возле текучей воды и не навестил ее, не погрузился на живое мерцающее дно, полное смутных переливчатых теней. А оглянувшись, заметил, что с такой же хмельной торопливостью разделась и Настасья, точно бросовую ветошку, спустила к ногам полосатую юбку и туда же небрежно кинула кофту; Серафима, ровным пакетиком сложив розовый халат, оказалась вдруг в длинной до пят полотняной рубахе, со складками от долгого лежания, и стянутой под шеей тесемками, похожая сейчас на деву пречистую иль староверку перед смертным омовением. Свет, стекающий по сводам хрустальной чаши, наполненной зноем, омыл ее снежную голову и позолотил. Лишь Аннушке было не до прочего, ей некуда было возвращаться, она скользкой рыбой вошла в реку, как в родной дом, и через мгновение ее остренькое любопытное личико откачнулось по течению куда как далеко; мать, лишь для порядку погрозив ей, торопливо вошла в воду и так же торопливо присела, пугливо охая, а после позвала Серафиму, но, не дождавшись ее, вышла на берег, и безмятежно, и радостно отдавалось солнцу ее шоколадное залоснившееся тело... Но старая, наверное, не расслышала зова: она сквозь слепоту, как через задымленное стекло, видела, наверное, ровный и мутный слиток солнца, а пониже его длинную чешуистую змею, едва намеченную в пространстве, которая и оказывалась рекой. Эта змея шипела, подымалась на хвосте, и, казалось Серафиме, только протяни ногу, и сразу обнаружишь скользкую и холодную змеиную плоть. Но тут смех нарушил ее видения и всплеск воды, тут опахнуло Серафиму теплой прелью с отмелей и робким рыбьим запахом, обволокло клеверным настоем, особенно терпким на бережине, и старушка, словно зачарованная, смело пошла в реку; вода на отмели, прогретая точно щелок, охватила деревянные, всегда мерзнущие ступни и всю обожгла Серафиму до самого горла. Старушка вздрогнула и внезапно заслезилась.

Несильная накатная волна подхватила полотняный подол, обжала белую рубаху вокруг иссохших икр, потянула старенькую в себя, в щекотное жадное лоно, и Серафима вдруг испугалась чего-то, может, видений, ознобно вскрикнула и повернула обратно, запинаясь в песке. «Мама, ты чего? — обняла ее Настасья. — Пойдем, я тебя накупаю, я тебя намою, волосики тебе расчешу, будешь ты у меня как куколка. Уж забыла небось когда и купалась?» — «Возле реки живу и не купывалась»,— чистосердечно призналась Серафима и покорно направилась за дочерью. Они шли рука об руку, и сзади старая мать казалась дочерью своей дочери... Какое странное это время: оно не имеет реального обличья, это какая-то мара, кудесы, чудеса, странная и страшная игра с человеком; оно вокруг нас, мы живем в нем, как рыба в воде, и нам не дано коснуться его, всмотреться и определить в нем самих себя. Ведь стрелки часов иль движение светила по небосводу, по которому мы определяем лишь собственное движение,— это лишь утеха нашему воображению, чтобы оно не расстроилось вконец. Но откуда приходит время и куда девается оно, как представить?

...Они заходили в реку, переливчатый свет размыл очертания, и сейчас на расстоянии Серафима

была дочерью своей дочери. Удивительно, как откровенны старики и малые дети в своей наготе и как естественны: их не тревожит чей-то любопытный взгляд, словно бы нежная кожа от долгой жизни задубела и превратилась в кожуру, а душа так опростилась, что вернулась обратно в изначальное состояние, вовсе лишенная грязи и пороков. Вот и сейчас Серафима, не стесняясь меня, готовно скинула нательную рубаху, сунула ее дочери, присела, заохала на всю реку, а после стала плескать на себя пригоршнями и счастливо смеяться, задыхаясь изношенным сердцем, словно бы щекотали ее. Настасья ласково уговаривала мать, будто маленькую, намыливала ее всю с головы до колен, а после омыла терпеливо и жалостно ее худобу и на берегу покрыла длинной полотняной рубахой, уже высохшей, и лишь тесемки под горлом не стянула, чтобы и туда, в пазушку испитой груди, выкормившей стольких детей, тоже попал небесный жар и хоть на мгновение, да оттеплил и оживил ее. Мне бы отвернуться ради приличия от этого омовения, ведь неудобно и совестно подсматривать за наготой, особенно старой, но я против воли, однако, все-таки любопытно озирался и вдруг поймал себя на том впечатлении, что все плотское неожиданно стерлось, рассеялось в золотистом воздухе и теперь виделось, как на потрескавшемся от времени полотне, где будто бы все происходившее на картине и ныне живо до волшебства, хотя на самом-то деле уже так далеко в отхлынувшем времени и невозвратно, и сейчас не более чем обман, наваждение, чары...

Обиходив мать, Настасья и дочь вытянула из воды почти насильно, и та устало зарылась в белый жаркий песок, оставив наружу лишь острую зверушью мордочку и любопытно приглядывая за нами.

— Внуча, ты где, внуча! Как хорошо-то! — почти всхлипывала Серафима и, не дозвавшись устало притихшей Аннушки, разом и забыла ее, уселась, где пожелалось душе, вытянула худые ножонки пятками вместе, заголила рубаху по колено и, оглаживая их, словно бы успокаивая от нытья, молитвенно обратилась к нам ли, к небу, иль к самой себе. — Осподи, хорошо-то как! — И ласково затянула голоском, колеблющимся слегка: — «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит. И много простора, и много свободы, луч солнца у чайки крыло золотит...» — Но вдруг перебила песню, скомкала, видно, что-то открылось ей в памяти, удивило и больно поразило. — Это что выходит, деточки мои? Это как ребенком сюда бегала, больше и не бывала, что ли? Зренья во мне не стало, а я все вижу лучше, чем видела... Доча, ты трусики-то выжми, это нехорошо, мокрые-то трусики, можно застудиться... «Шутя ее ранил охотник безвестный, она умерла, трепеща в камышах...» Как в детстве бегала, больше и не бывала у реки. Не приведи кому без глаз остаться, это хуже, чем без ума. Я второй год без глаз, а как умерла. Тете Мане каково пришлось, коли двадцать лет в потемках была. Это как в темнице, это как в землю лечь живой... Аньке штанишки смени, ты слышь, Настасья? Да в реку больше не пускай. Она как дорвется, хуже сатаны... Ой, хорошо, девки-парни-и. — Серафима дробненько залилась, радая всему.

— Все уже сделала, ты успокойся,— сухо откликнулась Настасья, не ворохнувшись однако, ибо давно уже не слышала никого: она лежала на спине, взглядом утонув в небе, но мыслями погрузившись в себя. Даже здесь, на воле, у края желанной реки странная смута бродила в ней, и по тому, как потухше глядела порою на меня, я сознавал, что куда как далеко она отплыла сейчас.

— А я ночью сказку сочинила,— вдруг просто призналась Настасья, глядя в небо. — Мне сказка приснилась... Без людей, без жизни, просто приснилась сказка. Я будто сочинила ее, всю ночь сочиняла и очень устала, а проснулась — и все помню. Она длинная была во мне, сейчас я пыталась припомнить ее, а она укоротилась вдруг... День не прошел, а она укоротилась.

— Я однажды на гармошке во сне играл...

— Это все известно, не то,— грубо оборвала Настасья и отвернулась порывисто, напрягшись спиною и вздрагивая плечами, словно бы заплакала безутешно от жалости к себе.

— Ну прости, прости,— пересилив недоумение, повинился и даже протянул руку, желая коснуться ее плеча: мне так хотелось обнять Настасью, обласкать ее слегка надломленную в горести шею и круглые плечи, сейчас покрытые испаринкой, и ложбинку спины, призрачно осыпанную белесым пушком. Так все радостно было мне в этой женщине и желанно, что я задохнулся: я боялся и неловкого слова, а еще более — молчания, тревожного и зыбкого. — Ты только начни, и сказка твоя очнется.

— Странный сон без лиц, без природы, без меня, и только мой голос будто бы повторяет следом мой же голос,— глухо начала Настасья, заикаясь. — В общем, однажды одному народу стало плохо, он умирал от вражды и голода. Нет-нет, не от вражды,— поправилась она и стала рассказывать монотонно, оцепенело. — Они не от вражды умирали, а просто все жили сами по себе, за оградами, боялись друг друга, боялись появиться за оградой на белый свет, на охоту выходили средь ночи и, конечно, никого не могли убить в темноте... Что-то путано получается, а когда в голове, то все по-другому, красиво... И тут одному самому доброму и светлому старику приснился вещий сон: будто кита бог дал, его выкинуло на берег, и если все по совести станут жить и по-братски делиться, то им надолго хватит того мяса, а может, и навечно. Старик подивился тому сну, рано утром побежал на берег, видит, кит лежит, такая ли туша, и хвостом брякает. Старик к народу побежал, стал в дома стучаться, а люди не верят, закрылись на засовы. День бегал старик по деревне, другой, а на третий вернулся на берег — кита нет. Народ же голодом сидел да и не выдержал, и на берег кинулся. Ну, старик сидит, а кита нет, и словно не было. Мужики и убили человека: будто обманул он их. Он-то кричал им, мол, вы сами повинны, в вас веры нет... Убили они старика и обратно в

избы вернулись. Снова сидят день, другой сидят, а на третий — страшно стало: пришли они на берег, стали разбираться, кто убил старика, ведь на каждом вина, и снова... Нет, не в том дело. Я вот сейчас думаю, почему они убили человека? Вроде бы он благо нес, он же не обманывал, это неверье их погубило, ведь так? Это неверье их обмануло.

— Он любви не разбудил. Он лишь отдельные страхи объединил в общий страх.

— Но как тогда разбудить в человеке любовь?

— А есть ли она вообще, вот вопрос. Это так сомнительно, что ой,— вдруг жестко, с неожиданной неприязнью сказал я.

Видно, тон мой Настасью взбесил и оскорбил, лицо ее побледнело, заострилось, и она вдруг не сдержалась, почти закричала фальцетом, и взгляд ее был полон ненависти ко мне:

— Заучил чужие слова! Если нет любви, то их-то, детей, куда? Ею живем, ею.

Настасья готова была кинуться с кулаками.

— Это эгоизм и самовнушенье,— уже не мог остановиться и я. Бес правил мною, и, чувствуя, как понесло, закружило меня, я внутренне захолодел. И уже не испытывал к Настасье недавних влечений, близких к поклонению, и со странным брезгливым любопытством заметил вдруг, что у нее слишком широко поставлены глаза и окружены частой насечкой ранних морщин, а нос туповатый да и губы отвисли подковкой, посинели в углах, наверное, от жары, а тяжелый волос побит ранней толстой сединой. Откуда, из каких черных глубин возбуждалось во мне это мрачное любопытство? Значит, эта тьма постоянно клубится во мне?

Женщина растерялась, огляделась вокруг: дочь ее сонно грезила, затемнив ресницами глаза, Серафима все так же сидела, ровно протянув ноги, и деловито охлопывала вокруг себя песок, она глядела на солнце, и тусклый свет его словно бы проникал в ее самую плоть, окутывал сердце, чтобы запечатлеться надолго, когда вовсе задернется перед ее взглядом тьма; далее, в стороне от расплавленной реки, словно бы остановившейся нынче и слегка колышащейся в своих пределах, лежали вызревающие луга, и над метлистой травой рисовался долгий клюквенно-яркий угор с длинным рядом солнечных домов и башенкой ветряной мельницы, редкие пуховинки скатывались по склону неба за реку, и от них по шелковистым бережинам скользили темные прозрачные отражения.

Потом она перевела взгляд на меня, и он неожиданно оказался жалостным и внимательно проникающим, словно бы Настасья вдруг прочитала мою душу и за шелухой слов уловила их дальний сиротский смысл. И она заговорила тихо, мягко придыхая, вплотную надвинувшись:

— Ты слушай меня, есть любовь-то, есть. Тогда зачем жить, если нет? Ласка — есть, любовь — есть, дети — есть, и мы с тобой — есть. — Она споткнулась и чуть ли не со слезами на глазах попросила: — Не смейте больше так, ладно?.. Я вот все думаю, что мы, бабы, нынче не своим делом занялись, нам захотелось волю проявить, дурное насилье, эгоизм, хотим на что-то влиять, мечтаем открывать, возноситься и двигать другими людьми. Какие-то дурные мы стали, верно? Бабье, сокровенное все порастеряли — тихость, верность, женственность, полумужичьем ходим, даже походка мужичья стала и голос от табака охрип... А ведь наше дело — любить любимого, мы для этого и на свет идем. Что может быть лучше этого дела, господи: рожать любимому детей, кучу детей, растить их, стирать рубахи, готовить еду, когда в доме светло, тихо, ласково... Но нынче так случилось, что миллионы баб, вместо того, чтобы семью любить, детей поднимать — и ее не любят, ибо времени нет и желанья — и общее прачешно-столовское дело с холодной душой творят...

Я слушал ее и не слушал, слова проникали в меня, но окружал и сыпил ее шелестящий печальный голос, и я уже мучительно ревновал к тому, кого она любит нынче и ласкает.

— Но если я не любил еще? — вдруг грустно и откровенно признался я, но к чему-то улыбнулся и, видимо, придал словам своим тайный неискренний смысл: ведь и без того-то обнаженные честные слова обычно не воспринимают люди, считают их за уловку, игру настроения. А тут еще моя дурацкая улыбка.

— Ой ли, так я вам и поверила. Вы же мужчина. — И она так оценивающе посмотрела на меня, что я смутился, да и она отодвинулась в сторону, потом бесцельно побрела по отливу, затканная солнечной паутиной, и тут, вновь одинокий, почувствовал, как небо окатывает меня сухим полдневым жаром. Сейчас бы веник березовый, и хоть парься: так круто настоялся день. Я торопливо зашел в реку, она сначала остудила, потом ласково окутала и понесла. Но берег вновь притягивал меня, одному плавать показалось одиноко и безрадостно, да и вода не казалась уже такой желанной. Видно, во всем нужны успокоение, незамутненность души... Когда я выбрался на берег, перебарывая течение, опрокидывающее с ног, Настасья уже насобирала на подсохших заплесках черных сладковатых кореньев и плавника, заплесневевшего и каменно тяжелого, свалила дровишки в груду и пыталась поджечь.

— Сейчас с одной спички запалю. Я ничего зря не делаю,— упредила она мой совет, услышав за спиной мое дыхание.

— Ты сухих веток сначала подбери, а толстые сучья после,— подсказал я, но Настасья лишь дернула плечом, дескать, отвяжись, не суйся под руку, и часто, нетерпеливо заширкала коробок, ломая спички. «Я ничего зря не делаю»,— повторяла она, но усилия ее были напрасны, и потому, делая вид, что затекла спина, она распрямилась:

— Ну что вы, как надсмотрщик...

— А вы не суйтесь, куда не просят.

— Это вы не мужчина, а баба,— вспыхнула она.— Не знаете, что надо делать? Мешаете только, я без вас бы мигом. — Но она уже извела коробок, хорошо, у матери оказались спички, и я заново, улыбаясь тайно, смиренно принялся разводить костри-

ще. И только потянуло дымком и кисловато запахло подсыхающим на пламени заводяневшим плавником, еще огонь плотно не облизал толстые сучья, как женщина полезла с котелком, стала совать его на толстую рогатину. «Я ничего зря не делаю»,— повторяла она, но то ли в спешке, то ли от горячности характера, не терпящего досмотра, но только залила костер; огонь, повозившись под пеплом в смертной своей норе, пышкнул и пропал, родив лишь сладкую прощальную гарь. «Только мешаетесь под руками. Одна-то я бы мигом»,— досадовала Настасья.

Но костер все-таки занялся, и жаркое пламя едва виделось в недвижном прокаленном воздухе. Вот и кипяток готов, поднялась его белая, словно пивная, пена, там и чай настоялся, какого желала Серафимина душа. Ни слова не сказала старая о чае, а тут, как сготовился он, когда кружка обожгла ее ладони, благодарно призналась: «Ой, ублажили, детки. А я сижу и думаю, ой, хоть бы чаю. Как догадались, иль я так желала, что вы услышали мое хотенье?» И она дробненько зашлась, потирая руки.

Тридцать лет, как Серафима вернулась из Вазицы, река текла под ее окнами; по ней бродили буксиры, вывешивая дымы, вились чайки; оттуда прибегали выросшие, с голодным блеском в глазах, ее дети; с реки приносил рыбу муж; за рекой в матером лесу, говорили, тьма грибов и ягод; но так случилось, что ни разу за тридцать лет река не поманила Серафиму, не позвала к себе на поклон, и душа не затомилась предвечерней серебристой порой при взгляде на полное живое течение, пронизанное зоревым брусничным пером. Все заботы, все крученье-верченье за шестью детишками да школьный класс на плечах, стопы тетрадок, и река все как бы оставлялась напоследок, на особый случай. А тут вдруг такая радость сошла вроде ниоткуда: река и река, эка невидаль, теки себе на здоровье, ублажай многий люд своею плотью. Но в реке-то оказалась душа, тихая и многопечальная, готовая к долгому доверчивому разговору с каждым затосковавшим иль полюбившим человеком. И спохватилась Серафима, и замерла в предчувствии, и решила про себя, что, наверное, скоро умрет.

— А любовь какая-то есть, значит, раз она есть,— вдруг сказала она, замиряя душевную смуту.— Все можно придумать, а любви не выдумаешь... Это приправа такая, вроде соли-перца. Проживать без любви можно, а жить — нельзя... Я три любви за семьдесят лет видала. В Слободе, помню, была девка Сара, в школе училась. Стояла у окна и все пела: «Я уйду с толпой цыганов за кибиткой кочевой». Отец у нее был мясник, убил от ревности мать; остались две сестры, воспитывались у бабушки. Приехали цыгане, зашли в гости, она с молодым-то цыганом и убежала. Организовали погоню и не могли догнать... Они приехали в Вазицу тогда, она скрывалась у Коны Петенбурга, все на лавке лежала, лица не открывала. Через несколько лет снова приехала она в Вазицу с цыганским табором. У нее уже был ребенок за шалью. Было такое мнение, что цыгане ее приворожили, хотя перед всем народом клялась она, когда хотели задержать, что вот прощайте, дескать, люди добрые; не силком, а по своей воле, по большой любви покидаю вас... Ну а тут, как снова приехала с табором, мы узнали, нам интересно. Я пришла к ней, а она не смеет на меня и взглянуть. Муж у нее оказался стариком, ее от молодого продали старику. Я пришла, он лежал на печи, угрюмый такой, слез сразу и прогнал меня. Сара вышла в сени, плачет, мне шепчет: «Ой, мучаюсь я, продали меня». Позднее дошли слухи, что она утонула в озере. От любимого оторвали — да за старика. Правда, чего тоже, любимый-то: страхолюдный такой, кривоногий. Приворожил, поди.

— А мне жалко ее,— задумчиво сказала Настасья.— Только не любовь это, а наважденье.

— Любовь зла, полюбишь и козла,— прыснула Серафима.— Еще свекор, помню, любил свою жену Татьяну. Там уж другой коленкор, там кино было сплошное. Готов был ей ноги мыть, да воду ту пить.— Серафима рассказывала теперь без прежней живости в голосе, словно бы голову напекло ей иль трудно было верные слова найти...

«...Мать у Хрисанфа была с Пижмы, высокая, ядреная, щеки заревом, коса в руку и за словом в карман не лезла. Сиротою осталась, на лодочке приплыла в Вазицу, а там народ до посторонних суровый, с прищуром глядел. Заселилась она в баньке бросовой, это еще до меня было. Ну, стала в купеческий дом ходить: полы мыла да сварить что, бабила она хорошо и живот правила. На слово боевая, а уж обидного не скажет... Алешка-то Крень и сосватал ее: чего сватать тут, верно, взял за руку да и привел к себе. В лесу жили, и пальцем не тронул, она худого от него не знавала. Он лесовал: бывало, уйдет в лес, с собой сухарей возьмет да масла туесок. Долго промышляет, иной раз и месяц все каравашком постным питался да сырой щукой. Вернется домой и туесок масла обратно несет, говорит: «На, Татьяна, это тебе гостинец от лисы».

Умирал тяжело, мучился. Перед смертью только и просил: «Прости, Татьяна, прости во всем». А у него самое ругательное слово было, как разгорячится: «Эх баба, такая ты баба».

Хрисанф-то не в отца-батьку, не-е... Они все, сыновья, с причудой почто-то.

...Ну, а третья-то любовь — моя будет: вы знаете, как я в Вазицу попала, да не знаете, как Хрисанфа завлекла. А он словно бы судьбой мне назначен, и жизнь его с моею пересеклась с первого дня. Он мне поначалу казался так себе, ну что в нем такого, а вот, оказывается, все-таки постоянно тайком думала, что есть на свете человек, с которым бы я могла сбежаться. Но Хрисанф тогда был женат, на ненке, жил в Верхних Кельях и в Вазицу редко спускался. И все бы ничего... Но вы знаете, когда я поняла, что Хрисанфа люблю? Когда он в море чуть не погиб и вестей от него не было дней двадцать. Ведь любишь, пока боишься потерять, а я всю жизнь боялась его потерять, да и сейчас боюсь...»

Ослепла Серафима два года назад, сказали, от печени, ибо два раза была жестокая желтуха, болезнь Боткина. Но ослепла неожиданно как-то: вот сегодня, к примеру, была еще вроде бы здоровая, зрячая, так ей казалось тогда и так вспоминается нынче, но в одночасье и потухли глаза. Однажды ночью разболелся зуб. Серафима нитку суровую петелькой сделала, надела на последний зуб, единственную надежду и крепость ее опустевшего рта, единственный корневой зубок, который берегла пуще

жизни и которым еще чуяла настоящий вкус еды. Но тут разнылся-разошелся, проклятый,— голова навылет. Хрисанф пьяный во сне стонет, ему не до бабки. И не стерпела Серафима, пала надеждами выстоять до утра, надела суровую нитку на зуб, к дверной ручке привязала и дверь отхлопнула. Зуб-то не выдернула, а второй раз не посмела. Едва до утра домаялась, поехала в больницу, но так накипела в ней боль, что не в ту сторону кинулась старуха, за пять километров от Слободы лишь дошло до нее, куда едет. Пошла обратно пешком, наконец, попала в больницу, а там неприемный день. Села у двери, объявила: пока не выдернут зуб — не уйду. Побежали звать врачиху, хорошо, рядом она жила, коснулась щипцами, зуб-то и выпал, и кровища хлынула. Кровь остановили, Серафима и захохотала, боль как рукой сняло. Отсмеялась она, сердечно откланялась, на улицу вышла, тут и сумерки сошли на глаза. Вот будто бы свеча залилась стеарином, нет для пламени воздуху, и оно никнет, пока вовсе не потонет в восковой лужице. Так и с Серафимой случилось. Но врачи объявили, что от печени кануло зрение.

Но и у этой болезни своя история... В двадцать третьем открыли в Вазице школу и направили Серафиму туда учительствовать. Из Зимней Золотицы ехали на карбасе: везли мужики мешки с зерном да крупой, все, что заработали в Архангельске, тут и Серафимин паек был, все ее довольствие. И вдруг шторм догнал карбас, и близ берега на лудах опрокинуло мужиков. Сами-то они, спасаясь, выплыли, а спутницу свою забыли в этой смертной суматохе, когда каждая волна — последняя. Лишь парень лет семнадцати замешкался, схватившись за киль карбаса, словно бы не решаясь отхватиться от него, и тут увидел сквозь водяной дым, окутавший стихию, что вроде бы перед лицом его на гребне волны всплыли волосы; эти волосы потянул он на себя и спутницу свою увидел, уже сомлелую, и вместе с нею на накатной волне выкинулся к берегу. Уже позднее, под диким хмелем вспоминая этот день, вдруг вскипит Хрисанф, дескать, знал бы тогда, так лучше бы руку отсек, чем спасать девку. Гляжу, говорит, волосье плывет, думаю, говорит, что за чудо: хвать, а то наша баба. В общем, отыскал богатство, ярмо на шею себе, деревянны деньги.

И стали мужики мять ее на берегу да растирать, и она едва пришла в себя и долго не могла понять, что с ней. Ком в горле, дыхания нет, на глазах студень, волосы колтуном, вся истерзанная, избитая, места живого на теле нет. Уже будто все соображала, а дыхание пропало: хотелось сказать, не мучьте меня, оставьте, лучше уж умереть. Тут один мужик зашел за камень-валун и кричит похабную частушку: «Девки думали, морошка — это мишкина говешка». Серафима услыхала, и ей вдруг стало смешно, и она вроде бы засмеялась иль думала засмеяться, но икнула и от натуги пробка из горла выскочила, и последняя вода вылилась. Ей так захотелось пить, но мужики не давали, лишь губы смажут тряпицей, смоченной в родниковой воде,— и все.

А после Алексей Крень, отец Хрисанфа, бывший за старшего в карбасе, сказал: «Ну, Серафима, спаслась ты от смерти, но коли жить будешь, то в старых годах вспомнишь нас худым словом, ибо намяли мы тебя сильно, натискали, выхаживая от смерти». (Так после все и случилось, и те слова постоянно в памяти.) Сколько-то еще погрелись у костерка и постановили идти в часовенку на берегу, чтобы отмолить спасение, и Крень сказал Серафиме: «Если нет тебе с нами пути, девка, то нет с нами и плавания». А куда денешься на пустынном берегу, если ни куска хлеба, ведь все на морском дне схоронилось, все волной раскидало. Согласилась Серафима, хотя была комсомолкой и в бога не верила. Принесли ее в часовню, и, как могла, молилась она вместе с мужиками, а те горько плакали навзрыд, безутешно рыдали, ибо утонуло все их пропитание, что добыли они в тяжком труде, а голодно тогда было, и в Вазице приели всех кошек и собак. Тут и Серафима не сдержалась, залилась слезами, вспоминая и мать-покоенку, и жизнь сиротскую, так рано начавшуюся с тягот, и будущее, такое туманное.

В этом крушении пропал Серафимин паек (мешок муки), и кормили ее на деревне, как пастуха,— поденно; ходила она по избам, усаживали в застолье, кормили чем придется, порой долго выдерживая у порога, если не ко времени являлась, и так тошно становилось тогда юной учителке, что до горечи спекалось внутри. Но особенно горестно переживалось ею, когда попадала в семью несчастную, вдовью, где тяжелый хлеб с мякиною считался за благо, когда дети с тоской смотрели ей в рот. И Серафима, понимая, что объедает хозяев, торопилась подняться из-за стола и откланяться благодарно, зажимая в себе девью слезу. Но как сурово ни обходились с учительницей, девчонкой еще, которой только бы подолом трясти на вечерках по ее-то возрасту, но умереть не дали, хотя самим ой туго приходилось; не дали умереть-то, последний кусок разделив, последний житный колоб вполовины со мхом.

А на складе в ту пору лежала махорка, и полагалась она совслужащим: учителю и фельдшеру. Рыбаки сидели на тоне, ловили семгу, денег им не давали, платили рыбой. И они не только по хлебу скучали, но и по табачине, им тошнехонько, до тумана в глазах хотелось дернуть взаправдашнего курева, а не того сухого мху, из которого с досадой лепили «козьи ножки». Вот и попросили мужики учителку достать махорки, того самого самосаду, от которого кровь живей струится. Пришла Серафима и сказала завскладом, дескать, я курю. Тот ей на цигарку выдал, а сам глазом ловит, как девка себя поведет: а она в дверь дует, отвернувшись, как труба самоварная, да еще и нахваливает, ой хорошо, ой сладко, давно настоящего табачку не пробовала. А у самой в горле кол и в голове ветер. Но с той поры стала махорку получать да рыбакам отдавать за рыбу, но незаметно и сама пристрастилась на всю жизнь...

«...А я ведь и запомнила тогда своего спасителя. Кудреватый, глаз голубой, ростом бог не обидел. Он в сердце моем, как в зеркальце, отразился, да там и остался, такая заноза. Он женат уже был, баба из ненок, но вскоре дошло до Вазицы, что на озере промышляли они, жена из лодки будто бы вывалилась и потонула. Ну, там разговоров было. Двое на озере, кто видел? Хрисанф и сказал тестю своему, что дочь его утонула, сказал, а поди узнай. Он после-то и заездил в Вазицу: далеко, но сам нет-нет и спустится на лодочке. Однажды в нардоме спектакль был, зашли пьяные парни, сыновья тех, кто побогаче. Лампы керосиновые сразу загасили и драку устроили, давай лупцеваться кто во что горазд, и скамейки в ход пошли... Я испугалась, бросилась в окно, а у меня юбка была из чертовой кожи, попала я на гвоздь и повисла, как проклятая. Туда-сюда, уже и заливаться стала кровью, ну, думаю, какую смерть себе нашла. Не смогла потонуть, так задохнусь. И стыдно ведь, как будто повесили меня сушиться, юбка на голову западает. Тут парень какой-то бежит на драку, я и крикни ему. (Главное, какой крепкий материал, тогда крепкие материалы были.) Ну, парень-то снял меня и понес на руках, я думаю, на худое несет, он со мной беду хочет сделать. Он несет меня, будто рукавичку меховую, я хочу в волосы ему вцепиться, глянь, а то Хрыся мой. Лежу на руках, обомлела вся, мне и слезать неохота. А он поставил меня на ноги, по заду хлопнул, и хоть бы слово сказал. Мне обидно, что он на меня ноль вниманья, я упала нарошно и притворилась, что мне плохо, лежу и стону. Хрисанф вернулся, спрашивает, идти не можешь ли, а я сквозь зубы: ы-ы. Скулю. Он меня и понес, да на квартиру мою донес, а как рассмотрел да узнал меня, сразу и заприставал, руки распустил. Ты, говорит, мне должна, верни должок старый за спасенье, я второй раз тебя к жизни вернул. А я его по рукам, ха-ха, но ему неймется, и я сквозь жалость да и по щеке его и мазанула, легонько так, для виду. Не могла же я прямо так и лечь с ним, верно? А он психанул, да и вскинулся от меня. Я в слезы, ой, думаю, пропала моя жизнь... Но тут вскоре узнала, что в Верхние Кельи много ненцев наехало, да три семьи промышленников, и захотели власти там школу оформить, раз детишек набирается. Я и напросилась в учителя, ну а там уж моя воля была: выбирать ему не из кого, а я из себя была махонькая, да писаная, верно? Плохих девок не бывает, молодые девки все сладкие. А после дети пошли косяком: он в лес на промысел, я вроде бы тонявая, такая рюмочка, хоть винцо попивай, ха-ха.

Из лесу явится под весну, а уж в зыбке гы-ы, словно ветром надуло. Мала я, да удала и нос сапожком, да и он, хозяин мой, борозды не испортил, зря не катался: всего-то у нас было три парня да три девки, да две задохлись. Тогда ведь моды не было, чтобы из себя плод изгонять. Раз зародился, милый, тянись из потемок на свет белый...»

Как за столом оставили мы Хрисанфа, за столом и нашли: он в нашу сторону не повернулся, хотя появились мы шумно, составил локти на столешне и, неотрывно глядя в стеколко, любовался собою. Случилось, что однажды в Городе сняли его на цветное фото, сунули в голубой пластмассовый шар, и сейчас он, обрюзглый и сивый старик, смотрел на себя молодого, белокурого, с ласковым голубым взглядом, вот так неожиданно проникал в иной мир, давно минувший; конечно, подрисовали, подольстили мастера, не без того, не зря же деньги брали, собаки, но ежели разобраться по уму — таким и был.

— Ну и хорош же, дьявол,— играл Хрисанф, чуя, что мы пришли. — Ну и как тут девкам его не любить, а? Бровь торчком, нос крючком, губа лопатой. Вот дьявол-то...

— Дедко, это ты с кем? — спросила Серафима, радая, что застала старика дома. Хрисанф безумно взглянул на супругу и, точно не заметив ее, продолжал:

— Писаный красавец, ну дьявол... это же надо такого уродить. И какая-то хрычовка, плюнуть некуда, выпила такого мужчину, во что превратила его, вы гляньте, люди добрые. — И вдруг зло прикрикнул: — Сдохли, что ли? Жди вас. Может, старик тут помер, может, с голоду ноги протянул, а они, барыни, тьфу на вас. Она на солнце пошла, воробьиная душа. Может, кого молодого углядела, а? Вьются ведь там, заразы, видал волосанов, им бы только свежего товару.

— Может, и углядела, хи-хи. Такой чернявый, волосатенький,— снова засмеялась Серафима. — Фимочка, говорит мне, какая вы душенька... Так чего не помер-то, отец? Иду, думаю, наконец-то дедко мой помер, хоть одна во славу поживу, любовника себе заведу, какого захочу... Помирал бы?

— Тебя-то переживу,— мутно взглянул Хрисанф. — Я сколько раз помирал, на сто людей, кажись, хватит.

— Вылинял, да не помер. И не хвались, чем не надо, верно? — оборвала мужа Серафима. Настасья быстро направила на стол. Хрисанф торопливо и жадно поел и, не сказав более ни слова, ушел.

— Сейчас напьется и — к ней, гадине,— шепотом сказала Серафима. — Он хоть бы Антоши постеснялся, как-никак шурин ему.

— Мама, да не ревнуешь ли ты? — засмеялась Настасья и, как маленькую, погладила ее по голове. — Больно кому он нужен... Позарилась на него Шурка, держи карман.

— Ой, доча, доча-а,— вздохнула Серафима. — Какое-то круженье во мне и такая легкость. Сейчас взмахну руками и полечу, такой воздух во мне, в каждой косточке... А вдруг он с другой схлестнется? — испуганно спросила, и тень страха набежала на лицо. — Я-то куда без него, голуб-чи-ки. Не помирать страшусь, а без него страшусь остаться... Ты поди, посмотри за ним, доча. Ты сбегай, куда он пошел, и после мне доложишь... А впрочем, ну его: сатану за пятки не защекочешь. Он, и верно сказать, какой-то бессмертный: тьфу-тьфу... В тридцать шестом тоже чуть не погиб. С острова Моржевца пошел за зверем, да попал в унос, да тринадцать суток его и носило море. Сказывал, бил тюленей, пил молоко утелег, мамок ихних, ел почки и все держался... У них, у Креней, вместо позвоночника железный дрын. Другой бы давно загнулся, столько-то дней во льдах, середка моря, да без огня, без тепла, сырое мясо грызи, как зверина. Хорошо — мимо маяка несло, увидали его, лодка от берега и пошла. Увидали, черновинка на льду, вроде бы человека тащит — и кинулись на спасенье: а кабы не увидали, прохлопали, тут и все... Рассказывал, говорит, как лодку-то увидал и сразу силы потерял, на лед упал. На берег-то уж на носилках заносили... И на войне трижды битый. Пусть живет, как хочет,— длинно вздохнула,— когда ли набегается. Так ведь сколько же лет ему жить надо, чтобы досыта набегаться? Скоро на восьмой десяток потянет...

Тут гостья пришла в длинном сарафане с бейками, синими лентами по подолу, на голове черный плат шалашиком, на ногах резиновые калоши с шерстяными носками; вошла, низко поклонилась, в руках чашка полотенишком накрытая. Поставила так же молча с краю стола, села на табурет возле порога, бурые ладони зарыла в подол, лицо спокойное, с ржавчинкой на впалых щеках, в глазах, сереньких, простеньких, тоже великий спокой и смирение. Увидала, что Серафима напряженно слушает, наверное, желает узнать, кто явился нежданный-негаданный, и объявила кротко: «Это я, Серафима Анатольевна... Это я, Секлетея, пирожка тебе капустного принесла. Испекла нынче, думаю, дай отнесу христарадушке, она капустных пирожков уважает». Гостья снова встала, поклонилась поясно и тут же села на прежнее место, постно собрав губы. «А мы нынче свое пекли. Мы сегодня сами собрались ради гостя да и испекли»,— заотказывалась Серафима. «Ну обратно не понесу, как ты хошь». — «И оставь... и оставь, голубушка».

Я уже понял, что Секлетея — староверка, любопытно было смотреть на нее: мне всегда мыслились они людьми сухими, грубо скроенными, без признаков мысли и тепла, погруженными в свою веру, придающую им особый отличный знак. А оказались — простенькие и особо земные, одеждой своей и обличьем,— наверное, чтобы не отличаться от прочих, чтобы не выпирать постороннему глазу, чтобы даже по тону одеяний своих быть ближе к земле.

Последние годы они, как рассказывала Серафима, повадились к ней — и то шанежку несут, то пирога горячего, то рыбы малосолой; она не нуждалась в приношениях, пенсия у нее была за заслуги персональная, по самому высшему окладу, два ордена да пять медалей лежат у нее в сундуке над погребальным платьем, сготовленным заранее, но зато нуждалась Серафима в участье, в добром слове, в живом слове, и потому она старушонок не гнала. Сорок пять лет она вела начальные классы, но отчего-то нынче, когда ей особенно хотелось в ее-то состоянии побыть с людьми, никто не навещал, никто не проникся участием и любопытством к ее новой слепой жизни. «Как на свалку кинули»,— порой горько сетовала она и тут же казнила себя за такие мысли, предполагала, что ответственным районным товарищам некогда, они в заботах своих на время потеряли верную давнюю спутницу, партийную каждой жилкой своей. И она, справившись с минутной слабостью и тут же виня за неискренность мыслей своих, запевала тоненько: «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастия ключи...»

В Слободе Серафима была человеком почтенным, многих она в жизнь ввела, дала духовное направление. Однажды умерла работница с кирпичного, всю жизнь в сапогах резиновых проходила да в синей холщовой юбке, вдова военная, неприметная, с каким-то землистым, закопченным лицом. Была она староверка, но последнее время запойно выпивала, видно, сломалось в ней что-то от тягот иль просто устал человек жить — случается и такое. Лопнул у нее мочевой пузырь, и умерла она. Пришли староверки, чтобы отпеть духовную сестру, а дочь старшая, комсомолка, не пускает в. дом, в шею гонит. Они и явились к Серафиме и смиренно попросили, дескать, уговори девку, она вами ученная, она вас любит и только ваше слово и услышит. А умершая — сестра наша; не отпоем — смертный грех на нас ляжет, и каково душе ее, отлетевшей, сиротливо торчать на распутье; ибо никто не призовет к себе, не приютит. Позвала Серафима девушку, говорит той: голубушка, ты уже большая, все на твоей совести, и ты вольна поступать, как тебе хочется, я тебя неволить не могу, не в моей власти и желании, но и ты мать свою пойми, во гробу лежащую, и не посмейся над верой ее. Ты над матерью покойной посмеешься, а над тобою и дети твои после посмеются, над твоей правдой и верой. Мать твоя сиротиной росла, одна радость была в вас, мы вместе с ней картошку с полей таскали, когда в войну голодно было, а вас кормить надо, верно? Картошку таскали да нарезали ломтиками вместо хлеба, да с солью пекли, тем и жили. Она в ту пору, чтобы вас поднять, и верить стала, тогда без веры невозможно было, каждый во что-то верил. Так не осуди и не препятствуй же, доченька, я твоя учительница и плохому не наставлю. Пусть отпоют, а хоронить будете по-граждански.

Выслушала девчонка — и покорилась. Пришли староверки, отпели, отчитали, пока старая в гробу (такая работящая и безотказная была), а после пришли с кирпичного, речь хорошую сказали (о безотказной и работящей) и с почетом, под духовую музыку проводили. У девушки черного платка не было, так Серафима свой отдала: и когда плакала та на кладбище и по земле в горе своем каталась, то плат в глине запачкала. Серафима и говорит: возьми, доченька, плат этот и не стирай его, а помни о матери своей, как о святыне. С той поры годы прошли, девушка та учительницей стала, уж своя семья, но, как приедет в Слободу, Серафимин дом не минет, и то доброе слово всегда со слезой вспомнит...

— Брось табачок, Фима. Что он, забава? Сладкий такой, как сахар, поди? А венькой-то, тьфу-тьфу,— вдруг сказала гостья от двери и брезгливо замахала ладонью. — Он что, отца-матери дороже?

Может, Серафима и поняла этот въедливый вопрос, да сделала вид, что туманные слова не дошли до нее, и к уху ладонь прислонила:

— Ты о чем, Секлетеюшка? Иль я что не так?

— Я говорю, долго ли жить осталось, дак ты покорись. Вот и гостенек твой,— быстрый оценивающий взгляд, можно ли взять меня в союзники... — не курит.

— Ну бог, он, конечно, чего... На то и бог. Но вот мужика лопатой хлебной не заменишь, верно? Ха-ха... Сколько ни приставляй лопату к себе, а она все одно — лопата. Вот и табачок богом не заменить. А ты, Тимоша, и неуж не куришь? Я как-то не спросила...

— Да вот месяц уже.

— Ну и молодец. Здоровье сохранишь, верно? Ум сохранишь. А у меня ни ума, ни здоровья.

— Дух куда? — вставила слово гостья. — С таким воньким духом куда ты? Никому не нужна,— сказала убежденно.

— Не-е, я уже ныне не пахну, хи-хи. Дух у меня незамутненный, вот принюхайся, Секлетеюшка. Я ныне веселюсь. Мне бы пасть да плакать, а я веселюсь. У меня такое постановленье: Серафима, не падай духом, а падай брюхом. Мне бы и реветь, а я смеюсь: хи-хи. Я на этом стою: «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастия ключи». Доча, доча, где ты пропала, ну-ка, подпой...

— Ты чистый человек, Фима, но табачок брось. Он из чрева блудницы, от него блудом и пахнет. Он в дерзость тебя гонит,— наставляла Секлетея ровным невозмущенным голосом, жалостно взглядывая на заблудшую, на ее костяное личико с широко распахнутыми, угольной черноты глазами.

— Может, я и есть блудница, верно? Всю жизнь с мужиком своим блудила, ха-ха. Он же вон какой, с колокольню, есть где затеряться. Заблужусь желанно, потеряюсь, мне и хорошо. Но табачку не брошу. Окаянный он, табачок-то, верно. У меня в легких уже кочегарка своя, там можно раскопки вести, за сорок лет накопилось уголька. Ну, брошу, а как далее жить? Вроде была я, а тут — на тебе — и не я вовсе... Я, Секлетеюшка, и на родильном столе табачок не бросила. И не поверите, скажете, бабка дура... Аннушки тут нет? Нечего ей слушать. Ну вот, рожаю я. Мертвый ребенок из меня не лезет, хоть плачь, головка торчит, а не лезет. После войны было. Хотели долбить, а нынешних средств не было. Слышу, совещаются меж собой, говорят, долбить надо, мать спасать надо. А мне так ли страшно стало, что долбить меня хотят, одно это слово в страх ввергло. Мне курить со страху и захотелось, нестерпимо потянуло. Я и говорю вдруг: как хотите, дескать, а я курить хочу. Не дадите покурить, тут же умру. Даю слово, что умру, если покурить не дадите. Они мне: «Серафима Анатольевна, вы же умная женщина, вы учительница, какой пример показываете. Вы что, с луны свалились, о каком куреве речь». Я ни слова более, с родильного стола слезла, у хирурга сигаретку взяла, за занавеской встала. Мне стыдно на людях-то курить. И посейчас стыдно. Накурилась, а ребенок вдруг и полез сам собой...

— Гордая вы, Серафима Анатольевна. Сказки вот нам, для отводу,— чопорно сказала гостья и черный плат надвинула на глаза, колючие сейчас и холодные. — А зачем сказки? Упорное сердце напоследок потерпит зло. Как бы не запечалиться вам, христарадушка.

— Я, Секлетея, уже все пережила, что на человека отпущено. Мне больше пугаться нечего,— закурила заново, заслонилась дымом. — Худую кошку мыши дерут.

И тут я вмешался против своей воли: мне отчего-то стало жалко Серафиму, ее одиночества, ее слепой неприкаянности и печальной, как мне казалось, веселости. Я понимал, что она в жалости моей не нуждалась, да и весь этот разговор, наверное, возникал не однажды и особого сопротивления в Серафиме не вызывал, он как бы скользил вне ее души, занимая лишь такое долгое одинокое время. Вот пришла старушка, с нею можно занятно поговорить, и тьма как бы отступает и уже не так гнетуща.

— Я не против вашей веры,— вдруг вступил я,— но мне жалко, что и ваша вера неискренна, она на страхе построена, на крови. У вас там как: страх господен — слава, и честь, и веселие, и венец... Полнота премудрости — бояться господа: венец премудрости — страх господен. По-вашему же: где веры нет — все шатко. Но и на страхе веры не построишь... Она к чему ведет? Она ко крови ведет, она к отрицанию человека. А неужели из страха-то нам не вырваться? Что за сети такие? — Но мои, такие высокие слова, почти выкрикнутые в тесной кухоньке и потому заглохшие сразу, лишь Настасьей, наверное, и были услышаны и поняты: она даже встрепенулась, порываясь что-то сказать ответно, но тут же и отвернулась к окну. — Оказывается, характерный факт, бог-то любит боязливых. Он любит, кто боится его. А любит ли он тех, кто просто любит его из самой любви. Иль без страха любить невозможно?

Секлетея взглянула на меня, как на пустое место, и я так решил, обидевшись поначалу, что она едва ли расслышала меня. И я сразу невзлюбил и плат ее шалашиком, скрывающий темно-синий повойник, и сухощекое лицо с ржавчинкой на скулах, и стальные без отблеска глаза. Но я-то сказал самое сокровенное, что выболело во мне, над чем я мучился последние годы: можно ли любить без жалости и страха, можно ли людям без страха слиться в великую семью, иль он, этот страх, в самой природе человечьей заселен изначала, как вечный и неустанный страж наших прихотей и желаний...

И тут же я устыдился мыслей своих: ну, пусть она староверка, но она же не видит во мне того, отчаявшегося, кому слово священное необходимо позарез, как единственное и спасительное, а значит, ей не о чем со мной говорить, у нас нет общих душевных слов, я как бы чужой для нее пока; да и о чем мне говорить с бабкой, она же — не вещая посланница-ведунья, способная угадать и разобрать по листам всю жизнь мою до смертного края, а простая слободская старуха, вечная труженица, которой без работы тошно, пожившая изрядно и намытарившаяся, поди, у нее руки скрючены от горшков и стирки, и у нее, быть может, одно слабое и туманное утешение в жизни — это найти радость иную, не земную, такую высокую и светлую, на горних высотах, что от одних лишь бессловесных мечтаний украшена жизнь ее — так стоит ли отбирать эти мечтания и вносить в утихшую душу странное раздражение? Да и о себе ли одной она думает, сестра Секлетея, а в миру — бабка Анна: ей, поди, сиротливо бы жить в райских кущах одной и есть золоченые плоды, ведь русская женщина не терпит бессловесного сиротства, ей даже в несчастии подай беседу негромкую и неторопливую; но Секлетее, наверное, и жалко всех, кто на миру бок о бок прожил с нею, всех смирных и праведно поживших, ей хочется им тоже радость устроить, и об этой душевной радости она

и печется неустанно и, жалеючи ту же Серафиму, надоедно ходит, докучает ей, ведет длинные беседы, в душе боясь обидеть и надоесть.

А я вдруг заговорил из Библии, из книги, о премудрости коей, быть может, она слыхала разве из уст начетчика Евтихия иль видала у него на столе под образом, толстую и тяжелую, одетую в телячий переплет с широкими медными застежками, написанную старовером-скрытником старинным полууставом, изрядно потускневшим от времени. Ей что-то, наверное, наговорил Евтихий о мире и благости в том, ждущем ее мире, куда она придет, о доброте изначальной и кротости, а может, и помог однажды исцеляющим словом, и ей, в миру бабке Анне, жить стало куда терпимее. Может, сказал начетчик Евтихий: помогай, сестра, ближним, вдовым и сирым, и она пошла помогать, ибо это так отвечало ее жалостливой душе...

— Вы думаете, я не верю, а я искренне верю, голубушка, в то, чем жила,— после долгого раздумья сказала Серафима. — Предавший однажды да предаст снова. Я бы не верила, так разве бы жила? А я живу. У меня, голубушка, два ордена и пять медалей за то, что я детишкам на человечью дорогу помогала выйти... Вы думаете, во мне веры нет, я несчастная? Здесь и ошибка. Моя вера — это моя вера, и поздно мне открещиваться, да и не к чему...

— Прости, Серафима Анатольевна. Прости глупую, темную и не обессудь. — Подошла Секлетея, поцеловала хозяйку в лоб, перекрестила слепую и ушла.

— Да за что, Секлетеюшка? За что винишься? Это я тебе в ноги паду,— протянула руки старенькая, словно бы пыталась задержать гостью. — Мне ныне и надо-то слово человечье. Посиди, куда ты?..

Из сараюшки, уложив дочь, вышла Настасья, позвала меня, и я с какой-то знобкой радостью готовно поспешил навстречу. В отпотевших лугах, над рекою, куда погрузились мы, было особенно тихо и спокойно, без того щемящего душу радостного надрыва, какой обычно вызывают во мне весна и начало лета: отгремел хмельной травяной праздник, скоро отыграл и отпылал, затомилось, зашершавило клеверное буйство, цвет набряк, свернулся в коробочки, затвердел, вот-вот готовый раскидать по земле последнее семя, и лишь ромашка пока мраморно белела да мохнатый колоколец прятался от глаза у края луга, свернувшись на ночь. Покой жил в июльских лугах над рекой. Тусклое ровное свечение стояло над головой, ни облачка в небе, ни гусиного пера, окрашенного с исподу розовым и зеленым, а только тусклое эмалевое свечение до той поры, куда проникал глаз, и понималось сейчас, что это истинная бездна без конца и краю. Небесная бездна опрокидывалась и в реку, и река тоже воспринималась, как бездна, как ничто, недвижное и покорное, незаметное моему глазу, утекающее в никуда.

«Хоть бы любовника себе завела,— вдруг вспомнил я о жене, сейчас, наверное, одиноко сидящей на краю постели и разбирающей волосы. Ведь там, на краю моря, под ровный накатный гул особенно невыносимо и одиноко смятенному человеку. — Я мучаю ее, она мучает меня. Я мучаю жалостью, она мучает покорством своим, верностью своей. Развестись бы надо, разрешить все... Ведь жалость моя сейчас хуже преступленья, такой характерный факт. Хоть бы изменила, а то ждет. Как странно: мне легче будет, если жена изменит. Это что, тоже болезнь особого рода?..»

— Господи, как не хочется назад в Город,— вдруг нарушила молчание Настасья и сладко потянулась, вернее, сладостно, по-звериному прогнулась, напрягла высокую грудь, на какое-то мгновение открыв себя, позволила своей замкнутой натуре крохотную свободу, но тут же, наверное, поймала мой тоскливо-кроткий взгляд, замкнулась, посмурнела, скрестила тугие руки. Чем я так чужд, так неприятен ей, что она, на мгновение и случайно выглянув из укрытия, сразу же торопливо спешит обратно. Может, что-то чует во мне изменчивое и неверное? Иль похожее на себя? Иль обличье мое — цыгановатое, с карими злодейскими глазами и развесистыми губами — так отталкивает ее? И, снова заметив такое небрежение к себе, я невольно вспыхнул и подавил в себе стеснительность, сразу стал развязен и волен в словах.

Вечерним спокойно раскинувшимся лугом, полным матового свечения, шли двое людей, чужих и подозрительных, жаждущих своей особой воли.

— Город меня теснит, он меня уничтожает. Мне воздуху мало, дышать нечем.

— Так живите здесь, в Слободе, это почти деревня. И мать старая, слепая, нуждается в помощи. Вы же бросили мать и отца, такой характерный факт. Вы в городе спасаете себя от тягот и неудобств, чего вам еще надо...

— Вы мне отчего-то противны, Тимофей Ильич,— вспыхнула Настасья, но, однако, к дому не повернула, а спустилась к побледневшей реке. — Что вы на меня так смотрите?

— ..?

— Гаденько. Что, вас били часто?

— Вы со всеми так обращаетесь или только со мной?

Мне было горестно и горько, и я невольно задерживал шаг, никак не решаясь повернуть обратно к дому.

А Настасья вдруг обернулась, издали упорно разглядывая меня и близоруко щурясь, и мой неприглядный мешковатый облик, наверное, всколыхнул что-то в женщине, и она неожиданно засмеялась, круто запрокинув голову; она смеялась долго и печально, дожидаясь, а во мне все кипело, и, может, потому слова запеклись в горле. Но бес точил меня, под грудью горело, все чудилось, что кто-то доглядывает следом, хохочет и строит рожи, радуясь моему позору. «А ты не трусь,— нашептывал бес,— ты в охапку ее, да в траву. Так-то ли сладко».

— Господи, как в Город не хочу,— вдруг снова тоскливо протянула она. — Подумайте, Тимофей Ильич, но жилье свелось к крыше над головой, а

любовь — к постели. Не могу я жить в современной квартире. Не переношу все то, что для всех и у всех. Это как ненависть во мне, отвращенье. Общую одинаковую мебель не переношу, одинаковую одежду, одинаковые чувства, одинаковых людей. Это как болезнь — наша всеобщая одинаковость.

— Все, петля,— нарочито горестно сказал я, скоро забывая недавнюю обиду и горечь. Мне вдруг понному увиделась Настасья: это постоянный нерв любви трепетал обнаженно и изводил ее сиротскую душу. Я вроде бы в огромном мире вдруг отыскал своего двойника. Вот отчего так томилось мое сердце и влекло к этой женщине. Ей очищенья хотелось, всеобщей доброты и участья, человеческого слиянья и согласного единенья.

— Что за чушь? — споткнулась, недоуменно посмотрела тяжелым взглядом. Удивительно, как менялась Настасья: отсмеялась — и поникла, увяла сразу, как морская рыба, недолго побывшая на берегу. Вот так щепотью придавить язычок светильника, и лицо, до того чеканное и тепло омытое добротой, сразу обретает угрюмость и подозрительность, ему, казалось бы, не свойственную. Хоть бы однажды оттаяли ее угольной черноты глаза, и какая бы, наверное, глубина вдруг обнаружилась в них.

— Намылить веревку, примериться, лучше бечевку взять, круто свитую и тонкую, чтобы не мучила,— я крутнул пальцем у горла. — Слушай, зачем изводить себя и других, простись со всем, что так тягостно тебе. — Над зеркальной светлой рекой низко нарисовалось холмистое облако, с-под низу окрашенное лиловым, а по верху его, словно бы в седловинке, лежала зеленым светильником звезда, искристая, обманчиво округлая, будто чей кормовой фонарь утекал вместе с суденком в безбрежность. «Милая Настя, я над собой смеюсь, прости мое фанфаронство. Я над собой смеюсь, потому что любить хочу. Лю-би-ть хочу! И ты хочешь любить. Мы хотим любить». — Смотри, вон звезда. Но это нам чудится, будто звезда, и звездный свет струит на нас. Это обман, чары, ересь. Там вовсе и не светило, это лишь отраженье свечи в божьей горнице, куда нам не попасть,— молол я чепуху. Господи, как только язык не отвалится у меня, как не засохнет и не отпадет, как стручок мышиного горошка. Но во мне прорвалась запруда, душа моя разгорелась, чуя близкие слезы, и в это мгновение я был почти счастлив. — Полюбить вам надо, Нас-тя-я. — Я городил огороду, и мне странным казалось, что Настасья терпит меня, не уходит прочь, а слушает, обратясь вплотную ко мне, и глаза ее округлились и диковато вспыхивают. — Знаешь, когда невесту раньше к венцу вели, дружки жениховы ее наставляли: дескать, в горнице у мужа стоит кровать тесова, на кровати тесовой лежит перина пухова, а на перине пуховой есть подушки кисовые, а на стене над кроватью, значит, спичка дубовая, деревянный гвоздь такой, а на спичке дубовой висит плетка шелкова... Слушай, теперь тут самый раз для тебя... Висит плетка шелкова о трех концах: один конец долог и другой долог, а третий — больно ловок. Как хвостнет, так кровь в потолок сбрызнет...

— И часто жену свою бьешь? — любопытно спросила она и вновь чисто засмеялась, запрокидывая голову, третий раз за нынешний день. Что-то менялось в Настасье, какая-то лихорадка вроде бы овладела ею и не отпускала: словно бы желанное счастье мерещилось ей, но она пугливо отстранялась, остерегаясь поверить. — Я мужу своему говорила: Андрей, ты бей меня чаще, крепче любить буду. А он не бил... Но однажды решился — и я ушла.

— Любишь ты его,— повторил я, внезапно грустнея от ревности, и будто случайно положил ладонь на ее прохладное плечо. Настасья косо глянула на меня, но смолчала, и я сам торопливо убрал руку и отодвинулся чуть. — Вернись к нему, что тебя держит?

— Нет-нет! — испуганно вскрикнула Настасья. — Что ты понимаешь в любви? Ты же ее не признаешь. Давай кончим этот разговор... Исключено, исключено, Тимофей Ильич. Но я каждую ночь его видеть стала и тоскую. Он, как призрак, приходит и стоит в изголовье и шепчет. Знаю, что лживы слова, и расслышать не могу. Утром проснусь и тоскую. О прожитой жизни тоскую, что так сложилась она.

— Значит, любишь, раз тоскуешь. Ведь тоскуют, когда любят. Тоска по родине, любовь по родине...

Настасья от этих слов сморщилась, потемнела, гневно вздрогнули губы, но она сдержалась и ответила печально и покорно:

— Нет, не люблю.

— Значит, не тоскуешь,— болезненно настаивал я: мне отчего-то желалось, чтобы Настасья возражала, словно бы от этих слов что-то могло счастливо разрешиться в моей судьбе.

— Тоскую... Я от жалости тоскую. Мне его жалко, вот и тоскую. Мне всех людей жалко, мне и вас жалко, Тимофей Ильич, и отца с матерью. Всех так жалко, что и жить не хочется... Вот муж, он унижал меня, а мне его жалко,— печально говорила она, видно, долгое молчание угнетало ее. — Все думается, что он страдает, он любит меня, потому и унижал. Хотя знаю, что притворство одно, зло с его стороны, он не любит меня. Он во мне человека не любит — за то, что я собою хочу быть. Не подстилкой, не принадлежностью, а собою. И знаю, что не любит, но возвращалась сколько раз и снова обманывалась, а все одно — жалею... Почему люди не хотят, чтобы каждый оставался самим собою?

— Я не знаю, что тебе ответить. Это и моя боль.

— И не надо. Помолчим лучше.

Но я уже не мог молчать, во мне все сместилось и лихорадочно дрожало: душа повисла на крохотном стебельке, готовая оторваться, она трепетала, будто черемуховый озябший листок.

Настасья стояла вполоборота ко мне, снова скучная и ушедшая в себя. Я торопливо подхватил ее за плечи, жадно привлек к себе и ткнулся в сухие шероховатые губы, внезапно ставшие вовсе узкими и каменными. Настасья не смутилась, не закричала гневно, не оттолкнула, она лишь напряглась всем литым

чужим телом. Я пробовал еще зарыться в легкий голубой батист, пахнущий огородной зеленью и пряной горечью тела, но Настасья поймала рукою мою ошалелую голову и без особого усилия отстранилась.

— Тревога во мне, Настя. Ты должна меня спасти,— шептал я воспаленным сухим голосом, мучительно и слезно жалея себя. Все вдруг во мне перевернулось, и я увидел себя обиженным ребенком: мне восемь лет, я один на всем земном белом свете под закуржавленной березой и, с тоскою глядя на освещенное заиндевелое окно, жду странной временной смерти и доброго, прощающего материного оклика... Мне бы сейчас только коснуться Настасьи, приникнуть к ее плечу, услышать ответное согласное слово — и я бы утешился сразу и возродился. Только что я готов был взлететь, и вроде бы даже слышал воздушные студеные токи, обтекающие меня, и вдруг мерзлым придорожным камнем упал, и нет во мне ни жизни, ни желаний. Случаются же такие любовные вихри, которые возникают словно бы ниоткуда, освобождают душу из оцепеневшей кожурины, кидают ее под самое перьевое облако, с лиловой тенью в отрогах. Но боже мой, как тяжко возвращаться душе в тугие грудные крепи, покорить себя и одиноко, надолго замереть там, дожидаясь случая. Я плакал сердцем, хотя глаза пока оставались сухими. — Спаси меня, Настя,— прерывисто повторял. — Я уж думал, все... Ходил весной на охоту, загадал: убью глухаря — жить буду. В упор пальнул, а он ушел... Значит, все... Зачем говорю, правда? Смешно. Ты прости, это голову днем напекло. Душа болит... Смешно. Ты-то с какого краю, верно? Вчера увиделись случайно, чужие люди, завтра разминемся. Две звезды в пространстве. Просто поверил, а вдруг? Смешно... Это голову днем напекло... Меж нами стена. Нам не понять друг друга, меж нами стена. Глупо все, глупо...

Что случилось со мной, я не понимал. Может, напряжение последних месяцев извело меня, боренья с самим собой измучили, и я опустошился. Я плакал горестно и надрывно, как пьяный растерзанный мужик, и не мог укрепить волю.

— Слушай, ты плачешь? — удивленно спросила Настя. Она пробовала оторвать ладони от моего лица, но я по-детски упирался, мне было стыдно своих слез. — Слушай, ты плачешь? Ты ведь плачешь, правда? — недоверчиво повторяла Настя, в чем-то убеждая себя, и вдруг поцеловала мою руку.

Я долго приходил в себя, пока плач затихал, смирялся в груди, и Настя покорно стояла рядом: я стыдился повернуть к ней опухшее лицо, но взгляд ее чувствовал постоянно. Сквозь слипшиеся ресницы ночной тусклый воздух казался живым и студенистым, река угрюмо текла из земной расщелины в небесное пространство, полная багрового свечения. Как быстро все переменилось в природе, сместилось, сторожко примолкло, подстерегая незнаемое утро, и полночное небо сдвинулось, наполнилось сиреневыми дымами, и сквозь эту подвижную смуту проклюнул стершийся незавидный грошик луны.

...Вернулись мы неожиданно поздно и, стараясь не шуметь, словно бы в сговор вошли (а может, и возникло меж нами тайное, еще не услышанное согласие), открыли калитку, косо стоящую на пяте, и, как я ни старался, она, однако, досадливо поперхнулась, неохотно впуская нас. Может, действительно мы сговорились? А иначе отчего бы так испуганно переглянулись вдруг, и каждый заметил про себя, что идет крадучись.

Крыльцо заслоняла черемуха, да и мы были так заняты собою, что Серафиму заметили в последнее мгновение: она сидела на ступеньке, как ощипанная куропатка, в белой ночной сорочке до пят, в какой ходила к реке, и мелко дрожала.

— Мама, ты отчего здесь? — испуганно спросила Настасья; она, наверное, уже что-то почуяла в облике матери, потому как поникла разом и постарела. — А ну, пойдем в дом...

— Да все бы ладно, верно? Сигаретки вот нет — беда. Я только спать легла, а он пришел и с заулка закричал: Серафима, выйди на минутку. Ну, я как добрая и вышла, спрашиваю, чего тебе? А он обошел меня кругом да дверь и закрыл на крюк, дьявол такой, хи-хи. — Серафима неожиданно засмеялась иль всхлипнула и тут же мелко закашлялась. — Ты, доча, на него не шуми... Ты не строжи батю, ты его не гневи, чего попусту травить: пусть поспит, лешачина, хоть протрезвеет. Вот тоже моду дурную взял: однажды и зимой меня так обманул, часа два раздетой на морозе выдержал, я и слегла в больницу.

Серафима не ругалась, не кляла, а покорно дожидалась своего часа, когда смилостивятся над нею, и это ее поведение окончательно сбило меня с толку, да и что я мог поделать в чужом дому, что рассудить и как, только самому же и перепадет сгоряча, если сунешься напропалую. Настасья же мать свою не слушала вовсе, а нетерпеливо оглядывала избу, видно, не зная, с какого края подступиться к ней, взломать ли дверь иль попытаться уговорить пьяного отца. И тут, решившись, она продралась через смородиновую заросль, угрюмо попросила: «А ну, помоги»,— и я, сколько мог, приподнял ее, упругую, крепко сбитую, ощущая горячую покатость бедра.

Старик, оказывается, не спал, а дурачился у стола с приблудной собачонкой, совал ей в пасть корявый палец, и, наверное, хихикал, потому что видно было, как сладко щерилось его бровастое лицо. Настасья грозно колотнула в раму, махнула рукой, и Хрисанф, неожиданно разглядев дочь, испуганно встрепенулся и кинулся к двери.

— Ты что, совсем с ума?.. Ты что это, издеватель, над мамой, а? Кто позволил...

Но Хрисанф играл со щенком, совал ему в слюнявую пасть толстый искореженный палец и разговаривал:

— Ну ты, злодей... Ах, ты кусать, ну погоди, деревянны деньги. Я из тебя кислу шерсть выбью.... Ты послушай, как она с отцом ведет. Она забыла, что я ей отец, я могу и выпороть, запросто выпороть, у меня не заржавеет... Ну, гульнули сегодня, волчонок, знатно гульнули. Шурка-то баба огонь, да и я не сплоховал, не пальцем строен... Ну ты, экий пакостник, дед-

ка обмочил. Поди прочь от меня, заразный небось, а нёбо зверное, черное нёбо-то...

— Замолчал бы хоть, пьяная голова, стыда если нет,— укорила Серафима, жадно накуриваясь за дверью. — Ты что при госте несешь, какую чепуховину порешь. Ведь могут и поверить.

— А я не соврал, с чего мне врать? Мне за вранье деньги не платят,— вскочил Хрисанф, кинул щенка на пол, тот заскулил и поплелся к двери, оставляя темную лужицу.— Я врал когда? — Он дико взглянул на супругу и вновь ощерился черным беззубым ртом. — Я Шурку-то зажал, стерву, так она и не пискнула... Я ей все по чести, деревянны деньги, я с ее тройной пот спустил. Ну, говорит, ты, Хрисанф, молодец, ты, говорит, и молодым сто очков дашь.

— Скотина ты, а не отец мне,— прошептала Настасья и размашисто, с подскоку влепила старику пощечину, не раздумывая, и с другой стороны добавила. Хрисанф не оборонялся, лишь потерянно ойкал и качал хмельной головой, разом растеряв слова:

— На отца родного руку... Как ты посмела?.. Фима, оборони, милая, она ведь меня убьет.

И чего никак уж не ожидалось, подскочила Серафима к мужу, заслонила его, сама крохотная, будто птенец встопорщенный, промокший под дождем, которого и голодная собака поленится теребить, седые паутинные волосенки, обычно такие ухоженные, выбились из-под гребня, раскосматились: макушкой Серафима не доставала широкой мужней груди, покрытой когда-то по-лисьи рыжей, а ныне длинной седой шерстью, той самой просторной груди, на которой столько ночей было выспано; и руки она выставила, зашарила ими в мутном пространстве, кидаясь на шорохи, все пыталась достать, найти дочь свою:

— Доча, ты не бей его,— умоляла она. — На что он тебе сдался, верно? Он ведь старый, отец твой.

Оторопь у Хрисанфа прошла, он сутулился за спиной супруги, одетой в длинную, словно саван, рубаху, и уже подмигивал мне и строил над ее тонким плечом всякие фигуры из пальцев и открыто смеялся; вроде бы старый человек, наживишийся, а как ребенок, и все повадки детские, но странно жесткие и обидные.

— Вы, клуши... — горделиво бубнил он, выгибая грудь,— вы обе из моего ребра скроены. Я на вас тьфу... Меня любая баба с руками, деревянны деньги... Если по зверю, кто первый? Я, вот и оно... А насчет рыбы? Я, вот и оно. За мной, как за гранитной стеной, ни одним ветром не прошибет. Вот на меня бабы и зарятся. Я их не хочу, хе-хе. Да они сами мне проходу не дают, заразы, вшивое племя... Не, я за вас возьмусь, вот погодите, я из вас кислу шерсть выбью... А пожалуй, брошу Фимку, верно, Тимофей Ильич, от нее же ныне ни рыбы, ни мяса, в этой бабке, одна становая кость в шкуре, из нее доброго студня-то не выйдет. — Хрисанф сел на порог, а сам все тянул шею, опасливо высматривал, что делает в горнице Настасья. Та сидела на кровати и, зажав уши ладонями, тупо раскачивалась. — А может, я сына хочу... И что? Я, может, по сыну плачу. Ты мне дашь? Не-е... Ты ныне затычка для жбана.

Я скверно себя чувствовал: мне бы одернуть Хрисанфа, заявить какие-то охлаждающие слова, дескать, если еще так поведете себя, то я уйду средь ночи и больше ноги моей здесь не будет, иль хотя бы упрек высказать для ясности, чтобы старик более не подмигивал мне и знал, на чьей я стороне; но, боже мой, я тоже что-то мямлил ватным языком, становясь похожим на Хрисанфа, и тоже непонятно кривлялся, наверное, пытался мигнуть ответно, потому как часто щурил левый глаз и был противен себе самому. Вместо того чтобы совершить поступок, я гаденько и противно щерился, перенимая все повадки Хрисанфа. И в то же самое время мне хотелось воскликнуть: люди, за что вы мучаете друг друга, ведь вашей-то жизни остался самый кончик с воробьиный шажок, проснулись — встали — заснули, вот и нет уж более вас на свете и не будет, сплошная тьма окутает, куда более глубокая и вечная, чем слепота. Так оставьте же по себе добрую память, которая б шла по долгой череде потомков, никогда не кончалась...

— Ты хочешь меня оскорбить? — с расстановкою спросила Серафима и пальцем проткнула воздух. — Но тебе меня не оскорбить, потому что я твоего оскорбления не слышу. — Она повернулась гордо и ушла в горницу. Хрисанф ответно плюнул, презрительно рассмеялся и выбрел на крыльцо. Я еще не ведал, какая мне предстоит ночь, но, желая скорее забыться и никого более не видеть, вступил в горницу. С хозяйкой, видно, творилось дурное, она как бы сбилась, потерялась умом, сейчас стояла на коленях возле распахнутого сундука и перебирала одежды, плоские, пахнущие нафталином. Сундук был огромный, редкий ныне в домах, с кованой обрешеткой, тусклыми слюдяными зеркальцами и со всякой деревенской росписью, изрядно поблекшей, с высокой пружинной крышкой, на обратной стороне которой были нарисованы маслом целующиеся голубки, больше похожие на тетерок. Помнится, такой же сундук стоял в городском доме моего деда, куда мать таила от меня сахар.

— Ему захотелось меня унизить. Я, ха-ха, не дамся, я от него скроюсь,— мутно и странно говорила Серафима, часто путаясь и сбиваясь. Порою она озиралась через плечо настороженно, будто оглядывала горенку, вернее, пыльный потолок, глубоко и горько вздыхая. Настасья все так же сидела на кровати, согнувшись до колен, зажала ладонями уши и тупо раскачивалась. Мне хотелось лечь скорее, но и неудобно было подсказывать. «Уезжать надо к чертовой матери — и скорее»,— тоскливо думал я, вспоминая о недавней своей истерике. А старушка бубнила, слепыми руками перебирала платья, юбки, платы, порой встряхивала с шумом и треском и снова укладывала, приминая ладонью, потом со дна добыла узелок и положила его как бы в изголовье. Я рассеянно глядел на эти приготовления, но еще не понимал, что собирается делать Серафима.

— Мне ведь места много не надо,— кротко, обиженно говорила она. — Я же как пуговка. Мне в люльке-то места, куда-а... За глаза места, я снова в

люльку вернулась, хи-хи. Мне отец хорошую люльку сострoил из красного дерева, да пухом выстелил.

Серафима, кряхтя и упорно цепляясь за стенки сундука, окованного железными полосами, трудно поднялась, и видно было мне, как прилила к щекам кровь и посинели уши. Она неожиданно занесла левую ногу и ловко закатилась в сундук, поворошилась там, сложилась подковкой и затворила глаза. Словно бы засыпая, о чем-то сладком грезя, Серафима улыбнулась жутко и зашарила вытянутой ручонкой над собою, наверное, искала крышку сундука, чтобы закрыться. Господи, безумье какое-то. Что за день такой пришел, ломающий душу и портящий разум... Тетя Фима, тетя Фима, крылатая Серафима, ангел мой, очнитесь же. Хватит с нас и одного безумца. Я, наверное, вслух бормотал иль воскликнул что, ибо Настасья вдруг очнулась, непонимающе взглянула на мать и, запрокинув голову, всплескивая руками, нервически засмеялась:

— Мама, подвинься, я лягу. Ой не могу...

Серафима обидчиво поджала губы, когда услышала над собою теплое дыхание, и перевернулась на другой бок. Под глазами у матери посинело, нос заострился и побелел. Настасья склонилась еще ниже, громко шепнула на ухо:

— Подурачились — и хватит. Иди в постель.

— Не буду с ним спать...

— Ну не будешь, не будешь,— *со слезой в голосе* уговаривала Настасья. — Дети, ой дети. Что мне с вами делать? День-то один не могли дожить с радостью. Один, другой. — И она опустилась на колени, заплакала, целуя крохотную ушастую голову матери. — Дети мои, что вы изводите себя...

Серафима, услышав горячие слезы дочери, упавшие на ее лицо, порывисто пыталась сесть, но тут кровь ударила ей в затылок, и старенькая тонко, по-заячьи заверещала.

— Мама, ты что... Ма-ма,— закричала Настасья, по-настоящему вдруг испугавшись. — Тимофей Ильич, ну помогите же. Ослепли? Человек или кто...

Я перенес Серафиму Анатольевну на кровать, старушка была не тяжелее пуховинки, увядшие безвольные руки заломились, иссохшее тельце жестко, деревянно легло в ладони. «Куда же ей еще жить такой? — мелькнуло в уме. — Умерла ведь, поди». Я осторожно поместил ее в постели, и она затерялась в перине, только лицо на твердой подушке выпятилось и мертвенно осунулось: обрезаться можно было о ее нос и впалые щеки. Настасья расщемила плотно сжатые губы, посинелые, траурные, дала валидолу. Я одной рукой держал Серафимину голову, другою — стакан, помогая напиться, и вдруг подумал, что так в природе увядает одуванец. Все красовался, оперялся, расцветал, хвалился средь травяной братвы солнечно расшитой тюбетейкой, а после седо закудрявел и улетел, лишь кожура осталась, посохшая, пониклая вдоль черной хребтины, а после и она поддастся, под ветрами и дождями опадет — и вроде бы не было на свете одуванца. Но весною сквозь эту щепотку праха вдруг проткнется зеленое перо, смешно и радостно растопырится и заспешит под солнце... Нет, вру: ни о чем таком я не думал тогда, я так представил уже после, когда переживал одинокую ночь на морском берегу. А в то мгновение я испугался близкой смерти до холода в сердце, ибо никогда еще не видал, как умирают люди... Я так много думал о смерти еще прошлой весной, она мне казалась тогда прекрасным выходом из жизни, естественным и желанным. Но человек, оказывается, умирает просто и незаметно, словно ему нечего терять и оставлять на этом свете, полном красот: все было буднично, почти безобразно и никому, вне дома, не жалостно. Если бы жалостно кому стало в это мгновение иль нестерпимо, то он должен бы почуять беду и без вести особой, без зова стремиться сюда, чтобы хоть как-то укрепить душу хозяйки и помочь достойно уйти ей. Меня тогда болезненно укололо, что это помирание не соответствовало Серафиминой крылатой душе: так бы должен кончаться какой-нибудь зачумелый от вина бродяга иль какой никчемный человечишка, никогда не умевший работать и любить. Почему же именно в такой неприметной заскорузлой плоти поместилась вдруг, нашла убежище большая Серафимина душа?

Настасья принесла грелку, поцеловала мать, потом губы к ее рту прислонила, ледяному, неслышному, и стала усердно отдавать свое нагретое дыхание. Серафима едва слышно простонала, открыла слепые глаза, испаринка просочилась на впалых висках.

— Если не станет лучше, за врачом надо,— сказала Настасья. Я *согласно кивнул головой и поскорей* вышел на улицу.

Хрисанф сидел на крыльце, нянчил собачонку: приблудный щенок, толстоголовый, довольно поуркивал. Я опустился возле и пристально вгляделся в старика, стараясь его понять.

— Как она меня любит, Фимка-то, а? — вдруг сказал Хрисанф. — Дочь-то меня бить, а она... Не тронь, говорит, отца. Только через мой труп... Вот любовь-то, деревянны деньги,— наивно бахвалился он.

— Серафиме Анатольевне плохо,— сказал я тускло, уже ничему не удивляясь.

— Восстанет,— спокойно ответил Хринсаф. — Она меня переживет, тьфу-тьфу. У ней умирать нечему. Одна становая кость, завернутая в кожу. — И он снова занялся щенком, злил его, совал корявый палец в слюнявую пасть.

— Это правда, с Шуркой-то? — зачем-то спросил я: вне дома все случившееся на кухне уже казалось смешным и надуманным. — Вы с Шуркой...

— Да не-е,— охотно признался старик и сбил сивые кудри на глаза, но, однако, ощерился сладко, словно бы вспоминая что запретное и забавное. — Я-то ей на какое место... Ее, заразу, трактором пахать.

— Зачем же врали тогда? Что вам от того?

— Вы об чем? — он отвел глаза. — Про то-то? А пусть Фимка не ерепенится. Хвост задрала, я те дам. Сама не больше копыла, за пазухой влезет, а

перья топорщит... Да понять ли вам, Тимофей Ильич? Да и соваться к чему? — он тоскливо посмотрел, упорно, будто бы спрашивал о чем, и я торопливо отвел глаза. — Вот то-то и оно... Доброта не грыжа, ее не наживешь, как ни надрывайся. Иль она есть от рожденья, или ее нет.

Я молчал, прислушивался к дому, постоянно думая о Настасье. Душа истекала обидой и тоской, я сам ее травил непрестанно, и это было хуже всего. Так мерзко было сейчас на сердце, что стыдно и смешно было снова появляться на глаза Настасье: лучше деться куда из этого дома посреди ночи, и самого себя куда-нибудь деть, затерять. Я прислонился к стене, тупо закрыл глаза, странно опустевший весь, с чугунной головой; и меня сразу понесло, закружило, я провалился в мглу, а когда очнулся, то поразился вдруг голосу старика, нежному, плавному. Он все так же обласкивал щенка, теребил его уши, свалившиеся на стороны пельмешком, словно бы от живого собачьего тепла обогревался:

— Вот кто, собака, если полюбит, дак не предаст. Мы дурного человека обзываем собакой, а надо бы хорошего. Собака-то полюбит, дак не продаст, не то что наш брат...

Все-таки под утро врача вызвали, он сделал от сердца укол, и Серафиме полегчало. Но какое-то странное беспокойство вдруг нашло на нее, видно, что-то мнилось, чудилось, даже в коротком сне старушка металась, звала кого-то и плакала. Очнувшись, она попросила поднять ее на подушках и позвать мужа. Хрисанфа долго добуживались, он явился опухший, с натеками под глазами и угрюмый. Встал подле кровати, сердито чесал заросшую шерстью грудь.

— Ну чего тебе, делать больше нечего?

Серафима оставила его слова без внимания, но руки ее беспокойно метались, то оправляли простыни, то подбирали рубашку возле горла, и посиневшие губы шептали что-то, видно, выискивали нужное слово, а может, и скрепляли то единственное, которое трудно было, однако, выпустить.

— Я умираю, Хрыся, — жалобно сказала Серафима; у нее не получилось достойного тона, и голос ее дрогнул. — Надо бы детей известить, чтоб ехали... Я умираю, Хрисанф, — повторила она уже более твердо. — Так знай, что я никогда не любила тебя... Я все сорок девять лет нашей совместной жизни притворялась.

Хрисанф не подавал признаков, он вроде бы и не дышал сейчас, а молча смотрел на супругу, и не то болезненно морщился, не то притворно улыбался и так, не сказав ни слова, убрел в дровяник, тяжело шаркая галошами. После таких Серафиминых слов, казалось бы, должна свершиться кара, хотя бы жиденький возглас иль неземной короткий гром: что-то же должно было случиться сейчас, так, наверное, полагала старенькая. Но тут ни слова в ответ, лишь тяжелое шарканье галош. Убрел, значит, ах ты прости. Может, и не любил? Кабы любил хоть каплю, то закричал бы, затопал ногами... А может, она убила его признанием, дура, ой дура, чего смолола, [illegible] то кто за язык тянул. Хотелось испуга его, гнева, может, и слез и тем самым отомстить за вчерашнее, возвеселиться и забыть. А он, как идол.

— Настасья, доченька, что я наделала... Зови старика, он что ли с собой сотворит... Я его знаю... Он, может, и веревку ищет... Он и повеситься может, верно?

Хрисанф только что повалился в дровянике на фуфайки, досадуя на супругу, что вот подняла ни свет ни заря, а ее признания он не понял спросонок. Он только блаженно растянул ноги, как вновь пришла Настасья, а ослушаться дочери старик не посмел бы. Он вновь встал возле кровати, Серафимино лицо напряглось ожиданием, слепо уставилось в потолок. По хлюпающему дыханию она поняла, что муж возле, и вдруг взяла его тяжелую ладонь, расцеловала, положила себе на грудь. Она долго и с нежностью гладила такую знакомую ладонь с набухшими жилами, а старик смотрел в сторону и глупо улыбался. Он взглянул и на меня, думал, не подсматриваю ли, но я поспешно закрыл глаза, притворился спящим.

— Хрисанф, голубчик, встань на колени, — вдруг попросила Серафима. Старик послушно опустился у кровати, а супруга бесплотно гладила его лицо, едва касаясь, вроде бы запоминала, с собою собиралась унести мужний облик. — Вот и все, нажились, как будто и не жили... Через месяц золотая свадьба, а я вот, верно?.. Ну что же я так-то заторопилась, — Серафима смиренно заплакала.

— Ну, брось, брось. Меня переживешь, — гугнил Хрисанф и со стороны, если не вслушиваться, доносилось: бу-бу-бу. — В тебе помирать-то, старуха, нечему. Ты же как вобла.

— Да, воб-ла-а, — плаксиво возразила Серафима. — А вот умираю, мучитель мой. — Она спохватилась, прикусила язык, воскликнула печалясь: — Ну что же я-то... Может, и к лучшему... Уж как хорошо-то и разрешилось. Иначе тебе обуза... Прости меня, Хрисанф Алексеевич.

— Ну ладно, пошел спать, — с виду равнодушно ответил Хрисанф. — И больше не зови. Все!

— Умру, а он и не поверит, подумает, соврала, — спокойно сказала Серафима, выждав, когда захлопнется за мужем дверь. И вдруг заворковала горлом — то ли смеялась, то ли плакала. Может, выпала старая из ума иль вернулась в то состояние, откуда начиналась ее жизнь?

Днем, откуда-то прослышав, что умирает Серафима Малыгина, нежданно заявился старовер-начетчик Евтихий. Явился в черном полосатом пиджаке с длинными лацканами, еще послевоенном, и в высоких расписных носках по колено и зеркальных галошах. Он весь был светящийся и тихий, с широко распахнутыми бледно-голубыми глазами, в которых, казалось, жила одна кротость, и серебряным волосом, точно зимним чистым инеем, было окутано все его большелобое лицо. Невесомые волосы подбиты в кружок, макушка желтой репкой слегка обнажилась, борода, текучая, сквозная, колыхалась под его [illegible] сквозь прореди ее виделся литой сереб-

ряный крест. Откуда пробрался этот человек, из каких пространств? Словно бы из стародавних скитов, от коих одни лишь названия помнятся в народе, явился он сквозь время, незваный и вещий, как *охотник за отлетающей душой.* Евтихий с глубоким любопытством оглядел меня, видно, понять хотел, из каких я мест и не несу ли с собою угрозы, но, наверное, вид мой, неприметный и затрапезный, успокоил его (так я предположил), и он быстро прошел в горенку.

Серафима вроде бы спала... Настасья сидела в изголовье, но, когда вошел Евтихий, она не удивилась, сама посветлела темным от бессонницы лицом, даже словно бы обрадовалась гостю, и торопливо придвинула ему стул. Евтихий молча смотрел на больную, на ее испитое обличье с пятаками под глазами, на снежные, ровно прибранные волосенки, на странно белые руки, сложенные крестом поверх одеяла, и Серафима, чуя его любопытный проникающий взгляд, долго крепилась, мерцала ресничками, но первой не сдержалась и вроде бы проснулась. Но ей-то, слепой, можно было и не открывать глаза, ибо, распахнутые, они походили на черные остывшие уголья, потерявшие живую глубину, и свет, падающий от близкого окна, скользил по ним, как по металлу.

— Вот... зовут, Евтихий Павлович.

— Христос с тобою, сестрица. Он всех призовет к себе... Ты не прозрела ли перед смертью?

— Да нет, по запаху чую, что ты.

Они замолчали. Евтихий раздвинул бороду, вызволил наружу литой серебряный крест, как бы призывая себя к скорбному, но и возвышенному полномочью, а рука-то у начетчика мужицкая, лопатистая, великоватая для его худенького тельца.

— Ой, сестрица... Все мы ревем, как медведи, и стонем, будто голуби, ждем великого суда, а его все нет. Но призовут на Страшный суд, ой, призовут. А может, сказка то, вранье? — Он пристально вгляделся в Серафиму, по движению ее лица стараясь уловить состояние души, чтобы узнать, готова ли она обратиться в истинную веру. — Врут, поди-ка? Исуса продали за тридцать сребреников, а мы кайся вечно. Нам-то што? Рассыпемся прахом, удобреньем на мать сыру-землю... Во спокое уходишь, сестра, иль тебя терзают диаволовы когти, грызут грудь? Жаровни-то не боишься, коли жарить начнут? Не завопишь там, на Страшном-то суде? — И тут Евтихий спохватился, поймал себя на том, что загорячился уже и поди зря пугает старушку. Кротостью надо, смирным словом да позовешь за собою.

— Боюсь жаровни-то,— прошептала Серафима, *словно бы силы не оказалось воскликнуть.* — Как не бояться-то, верно? А если в котел бросят со смолой?.. И чертей боюсь, рогами начнут бодать. Я с детства почто-то рогов боялась. У них рога-то настоящие, поди, иль из железа? — старушка говорила с придыхом и долгими расстановками, незряче уставясь в потолок, словно бы там ей рисовались будущие казни.

— Кто делает правду, тот праведен. Кто делает грех, тот от диавола...

— Если с рогами они, да с железными, то я лучше прахом лягу, а? — чуть громче спросила Серафима, *и, видно, уловив по материному голосу ее игру,* Настасья прыснула в горстку и отвернулась к окну. — Мне Хрисанф-то наставил рогов за долгую жизнь... Ой, боюсь я рогов.

— Ты, Серафима, на наших глазах жила. Смиренней тебя мы не знаем и не видим, и твою доброту сердечную мы не забудем... У тебя имя-то наше, святое, крылатое, вознестись тебе. Иди к нам, и мы за тебя вечно бога молить будем.

— Я бы пошла, да я табачок курю. С табачком примете?

— Табачок брось. Покайся, и грех этот простится.

— Все одно в землю, там и воньких принимают.— Серафима вроде бы ожила, в голосе ее проявилась сила, и прежнее любопытство проснулось.

— А дух куда?

— Пока жила, весь дух в детей вышел, верно? Вон, в Настасье мой дух. Бог добрый, принял бы он меня с табачком, я буду в сторонку дышать, я в лицо дышать не буду. Сяду где-нибудь в сторонку и буду золотым яблочком закушивать.

Евтихий давно понимал, что смеется Серафима, но и прощал ее, не осуждал, ибо жаль было уходящую из мира с такою неспокойною душой, в которой все встопорщилось и бунтует. В такой ли час смеяться человеку, не лучше ли задуматься о пути предстоящем и приготовиться к нему.

— Он не воньккой, а грешный, дух твой. Он в огне, не в покое. Тягостно тебе станет там. Отринься от мирского в последние часы и успокойся... Иди к нам, и мы тебе воспоем и вечно поминать станем. Это ли не благо, вечное поминанье? Все забудут тебя, для всех утратишься, испаришься из памяти, как пена на песке, и только в нас ты найдешь прибежище.

— Вы кому-то грехи прощаете, а мне крохотный... Ну что стоит? Одна прихоть была в этой жизни, одна слабость — табачок, и той вы лишить хотите... Если вы лишаете меня, значит, и там, куда посылаете меня, мне тоже насилье будет и у меня табачок отымут и будут говорить: то делай, а то не делай, верно?.. Я своей верой прожила, помогала чем могла, к равенству стремилась, двумя орденами отмечена. Ну ты меня удивил, Евтихий. Значит, брошу табачок — и в рай? Кто-то на жаровне корчится, его рогами железными бодают, а я буду в окошко подглядывать да золотые яблочки кушать? Да они у меня в горле встанут... Не искушай меня, Евтихий, прошу тебя, а то я умирать расхотела, мне страшно умирать. Меня властью однажды искушали, верно? Хе-хе. Я ведь из баб первым секретарем сельсовета была в Вазице. Баба-секретарь. Маленькая, как пенек, из-за стола не видно, а сразу норов во мне заиграл. Я книг под задницу положила, сижу, как на троне... Один охотник пришел, одноногий, с деревяшкой, хлеба просил, а я не дала. Где, говорю, тебе

хлеба возьму, тут тебе не богадельня. Рассказывали, он после-то лежит в лесной избушке, батогом в пол стучит и повторяет: «Сара, Сара, будь ты проклята». До сих пор помню. И сказала я себе: не возвышайся, Серафима.

— И Христос того заповедал...

— Но как тогда: я яблочки есть, а может, того, с кем всю жизнь бок о бок прожила, хоть и Хрисанфа моего взять, будут рогами бодать?

— Он грешник, но если падет ниц, то простится.

— Не хочу так...

— Но где-то грешники должны пострадать за муки, что принесли,— вдруг вскипел Евтихий, вскочил со стула, затопал ногами, обутыми в зеркальные галоши и расписные шерстяные носки по колена. — Где-то кара должна быть за грехи?

— Пусть на земле им станет туго. Так надо постановить... А табачку верна буду. — Серафима достала из-под подушки пачку сигарет и положила на грудь.

— Ну, Серафима,— воскликнул Евтихий, вздел прорицательски палец и потряс им перед слепым старушьим лицом. — Не умереть тебе просто... Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным. Оттого и понять ты нас не можешь, что гордыня в тебе, бес в тебе. — И вдруг кротко поклонился, осенил крестом и прошептал, уходя: — А ведь наша ты, ангел ты наш у престола, крылатая Серафима.

Через два дня я уезжал, набив портфель всякими лесхозными инструкциями, как бы окончательно заступив на новую должность. Хрисанф подал по стопке отвального вина и троекратно расцеловал меня, смахнув мизинцем неожиданную скорую слезу. Серафима подозвала ко кровати, велела нагнуться, обжала ласковыми ладонями мою голову, от старушки пахло увядающей кожей: «Как хорошо, что ты навестил нас, верно? Как хорошо, что ты догадался приехать. Мы кузнецы, и дух наш молод, верно? Матери кланяйся, как увидишь, и скажи: мы кузнецы, и дух наш молод...»

Настасья провожала меня до пристани, грустная, ушедшая в себя. Последние дни мы избегали друг друга и молчали, словно боялись вспомнить случившееся у реки. И сейчас слова больно теснились во мне и умирали в темени. Народ кипел на дебаркадере, усаживался, смеялся, что-то кричал шальное, и в этой суматохе, где крик вился под самое небо, мы вдруг впали в такое состояние, когда нам стало тихо до одуряющей тишины, и мы словно бы услышали, что думает каждый из нас. Двое было в миру, полуотвернувшихся, вроде бы скучающих, с тоской и нетерпением ждущих отвального гудка, но уже и соединенных странной общей виной. Настасья вдруг приподнялась и поцеловала меня в лоб сухими шероховатыми губами, словно бы проводила на смерть. «Будешь в Городе, разыщешь?..» — спросила и, будто боясь ответа, торопливо пошла прочь. Я взбежал по трапу, у борта обернулся и увидел Настасьину сутуловатую спину и длинную надломленную шею. Она шла по берегу в сторону от дома, загребая ногами песок, словно каторжная, и вскоре скрылась за излукой реки, как наваждение. Такой она и осталась в моей растревоженной душе.

А нынче вот пришло известие, что Хрисанф умер. Знать, мучиться теперь Серафиме, как насулил ей того начетчик Евтихий.

Кто застонал, откуда стон? Неужели так заполнилось все во мне любовью, что я застонал; значит, и мне суждено полюбить? А я уже отчаялся, что все: как сиротливая травина на глухом песке завял.

Может, от герани так душно мне и даже стопорит сердце. Нет воздуха в этом доме, ставленном моими руками и моим потом. Я как был, в трусах и майке, выпрыгнул в окно, калиткой в палисаднике выбрался на волю. Мишка Крень все так же сидел на китовом позвонке, как на стуле, потирал бурую шею и тупо смотрел в море. Я неслышно подошел, песчаная гривка, покрытая белесой осотной травкой, скрала шаги, сбоку взглянул на Креня и вдруг в чугунном его лице, заморщиненном и неряшливо закиданном седой шерстью, неожиданно увидел покорство и покой. Мне показалось неудобным окликивать старика, да и повода не было, но он, заслышав мое сдерживаемое натужное дыхание, испуганно вскочил, спрятал в землю взгляд и быстро пошел прочь. Его задубевшие пятки простучали по мосткам, как лошадиные копыта.

Три позвонка, как три желтых пенька, остались от кита, от когда-то великанского зверя, полного неукротимого духа. Я сел на позвонок, словно бы в кресло опустился, до того вытерт был он и отглажен, и всмотрелся в море. Зачем, по какой нужде ходит сюда ночами старый Крень, что видит он вдали слезящимися глазами, какие призраки навевает ему сиреневая тьма, встающая над краем моря? Может, мерещится ему вся истекшая жизнь, когда впервые, годовалым, он приковылял на срез моря, споткнулся, упал лицом в прибойную шелестящую пену и тревожно заревел, не в силах подняться. Прибежала на крик мать его Палага, наездила по сморщенной заднюшке и утащила в дом; в пять лет он жил на тоне и обсасывал семужий хрящик, борясь за него с косматой собакой, вьющейся у стола, которой тоже хотелось рыбьего пера; в десять он был отцу за напарника, а дальше уже все повелосьпокатилось, как и у всех Креней, поднявшихся из родового семени. Вот и еще один, Хрисанф, кончился; но дрогнуло ли Мишкино сердце в то мгновение, ведь ему, одинокому, живущему в своей баньке хуже зверя, не от кого даже и узнать о том. А может, и дошел слух, и сегодня он, плотнее мостясь на китовом позвонке, по чудному и туманному наитию вспомнил не только того громадного зверя, посланного им чудесной волей, но и братана своего Хрисанфа, с которым достали кита. Как вспоминался ему тот давний день, хмельной и радостный, мне того не знать, но Хрисанфу те обстоятельства были памятны постоянно, и, рассказывая мне, он топорщил толстую бровь, сладко щерился длинным черным ртом и искренне удивлялся своей былой удач-

ливости и нахальству. Ведь взяли задешево зверя, можно сказать, бог дал. Везли на карбасе почту, слышат, чайки орут. Думают, наверное, кто утопнул, дак мертвого выкинуло; подъехали к тому месту, а там кит хвостом качает. Мишка-то Крень и кричит: «Бог нам золото дал». Чайки расклевали зашеек, а пасть у кита — во! Стали из малопульки стрелять, да разве убьешь. Давай топором рубить; рубили-рубили — устали. А вода прибылая идет, кита стопило, вот-вот уйдет. Завязали веревками голову, думали удержать, а он хвостом качнет и мужиков, как щепину, волочит. Тогда Мишка в воду, в чем был, из города ехал, так в парадном пиджаке, и кита веревкой заарканил за хвост. Как на оленя накинул. Привязали к борту, повезли, так карбас-то зверя короче куда, вот сколь кит длиннющий... Мишка-то, помню, как увидал зверя, в воду кинулся, только голова торчит, и кричит: «Ой, бог золото дал!»

Нет кита того давно, съели его, и Хрисанфа вот не стало; и то золото источилось, кануло даром, не принеся Мишке Креню радостных удовольствий; и на последних заморщиненных позвонках, чудом не замытых штормовыми песками, сижу я. Как странно, что я здесь, а не в Слободе, в разоренной сиротской комнате, где черный креп еще не убран со стола, на котором так недолго стоял гроб. Настасья небось не спит, сидит на улице, на березовом пне, сохраненном у самой двери. Послезавтра Ильин день, когда бог кинул в реку льдинку и темь под вечер смывает кусты. Это здесь, на морском берегу, еще пространственно светел воздух, и лишь на дальних закрайках неба свинцовая стена: оттуда грядет осень... Сколько сейчас слов во мне, от них тесно. Эта печаль моя — от невысказанных слов, которые плавятся и сгорают в душе, от них и томительно мне. Словно бы зачеркнулось все, что было в эти недавние дни. Но что было-то, что? Но такое ощущение во мне, будто все случилось до той самой полной глубины, в которую окунаются и сгорают двое взаимно любящих. И мне уже не чудится, но верится, Настя, что я знаю тебя давно, может, с самого рождения, и никогда не покидал тебя.

Ничего не было, а я новый, и даже странно, что моя невзрачная кожурина осталась прежней. Я новый, я новый... Перед кем исповедаться мне, перед кем излиться, чтобы верно понятым быть? Словно бы наделенный особым проникающим зрением, глядя в набухшее смирное море, я с болезненным воображением через долгие немые пространства вижу сейчас тебя, Настя, горестно ушедшую в себя; и Серафиму Анатольевну вижу на кровати; сидит она в тонких спортивных штанах, свесив ноги, словно бы подросточек, шевелятся далеко выпирающие лопатки, похожие на отрастающие крылья, да и вся-то она от редкой седой макушки до сухоньких натоптанных пяток вздрагивает, готовая взлететь над постелью.

1977

Владимир Владимирович Личутин

КРЫЛАТАЯ СЕРАФИМА

Повести

Редактор С. ГЛАДКОВА

Художественный редактор *С. Гераскевич*. Технический редактор *Л. Ковнацкая*.
Корректоры *Т. Калинина, И. Филатова*
© Фото М. Харлампиева

Сдано в набор 02.02.82. Подписано в печать 19.03.82. А 04074. Формат 84×108 1/16. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 6,72. Усл. кр.-отт. 7,56. Уч.-изд. л. 10,11. Тираж 2 540 000 экз. (2-й завод 500 001—2 390 000 экз.). Заказ 291 Цена 89 к.

Адрес редакции: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Отпечатано на ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате ВО «Союзполиграфпром» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Г. Чехов Московской обл.

Зак.925

ПОМОРСКИЙ ДОМ ВЛАДИМИРА ЛИЧУТИНА

Владимир Личутин назвал то, чем живы, чему обязаны, откуда пошли его книги, «древом памяти».

«Удивительно охотно русские люди передают свою память, они словно бы устают от нее или опасаются утаить в себе, чтобы не унести во мрак: они рассказывают как исповедуются, начистоту и наизнанку, ничего не требуя взамен, и только в мгновенном проверяющем взгляде чувствуется вопрос — не солжешь ли! не утаишь ли! верно ли донесешь до других человечьих уст все услышанное! И вот чужая долгая родовая память становится и моею...»

«На памяти нашей житье стоит», — думает у Личутина вдова Нюра, старая одинокая поморская крестьянка. Для автора это — дорогая мысль; он возвращается к ней и утверждает ее постоянно, едва ли не всем своим творчеством.

Мысль противоположная — «Забыть, забыть!», «Нечего копаться в старье!..» — отвергается им, как рожденная нечистой совестью, страхом, эгоистическим равнодушием. Люди, бедные памятью, равнодушные к прошлому, мало интересны Личутину: нет в них для него серьезности, действительной значительности и глубины.

Личутин никогда не скажет о своих героях: они живут на планете Земля. Он предпочитает сказать: мои герои живут на Зимнем берегу Белого моря, в Поморье, в России.

Суровая, требовательная к человеку земля, северная окраина российского пространства, по старым меркам — почти край света... Это-то и есть родина, место жизни, труда и смерти личутинских героев, тут их реки, и море, и небо, и весь простор.

Уроженцу Мезени Владимиру Личутину сорок два года. Не о многом из того, о чем пишет, он может сказать: это было на моем веку. Даже если и было, то не глазам тринадцатилетнего мальчика увидеть и понять старую несчастную Нюру с ее горькой памятью и болью в далеком пятьдесят третьем... Похоже, что Личутин чувствует себя как человек, заставший время жатвы и сбора плодов, а его интересует время посева и первых всходов и все другие времена, взрастившие такие плоды... Кажется, какой дорогой ни пойди, все ведут в глубину. В глубину времени, памяти, мысли, человеческого характера и судьбы.

«Наше дерево не выворнуть, не-е, оно сквозь землю пронзило. Я-то еще прапрадеда Ваню помню...» — толкует в «Крылатой Серафиме» старый Хрисанф Малыгин, по прозвищу Крень, один из последних отростков крепкого поморского рода Креней.

Начнешь читать Личутина, повесть за повестью, — и примешься рисовать эти деревá, которые не выворнуть... Разветвленные и цепкие родословные деревá. Если читать все повести «из хроники поморской деревни» («Белая горница», «Вдова Нюра», «Душа горит», «Золотое дно», «Крылатая Серафима»), да еще примыкающий к ним новый роман «Фармазон», то поневоле будешь разбираться, кто от кого произошел, какой корень и как продолжился и какой прекратился...

Что было там, позади, у Нюры Питерки, семьдесят два года в даль! В глубине этой — «жили как не были» — свел Личутин судьбы Креней и Петенбургов: поди разберись сразу, кто кого сокрушал, чья вина больше, чьи слезы горше... Сильные люди живут в памяти Нюры Питерки; кажется, других вокруг и нет, кремневая, недробимая порода, и она им под стать, та же кровь. Личутин возвращает своей героине самые страшные часы ее жизни в их отчетливом, жестоком, ничего не пропускающем порядке. Писателю важно, чтобы через память и сегодняшнее состояние его героев пробилась, сказалась сама история с ее всеобщей и неустранимой логикой.

Для Личутина Нюра Питерка, что для Федора Абрамова — Милентьевна из «Деревянных коней», что для Валентина Распутина — старуха Анна из «Последнего срока». Их правда надежнее и как бы шире других — корыстных, соперничающих, спешащих. Душа у них пусть не ангельская, не святая, но любящая и милосердная, несмотря на весь беспощадный, остужающий опыт жизни. И вовсе не обязательно быть ей приемлемой для всех и приятной всем; быть ей кому-то даже чужой — обличьем, привычками, речью, но тем дороже, если вдруг открывается и осознается родство, и неожиданно достают до нас теплые волны этой души, мирящей и спасающей.

Жизнь несет в себе «трудные» вопросы долго, в поколениях, и это, по Личутину, естественно и нормально, потому что исчерпывающие, категорические ответы на вечные по сути вопросы бывают чересчур абстрактными, а жизнь человека конкретна и единственна, и ее особенность, особость — твердый камешек для отвлеченной, вроде бы универсальной мысли. Может быть, герои Личутина, дорогие ему своей стойкой здравостью, сходятся более всего на том, что «есть дело ума, а есть дело разума», и хотя трудно порой понять, где-то, а где другое, они все-таки отделяют повальную «умность» («такой умный народ пошел...») от разумности, то есть от ума, освещенного душою, согласного с народным опытом и народным здравым смыслом.

Ум без души — вот что для Личутина страшно. Обездушенный ум и, значит, — обездушенные глаза, обездушенные руки. Глаза все выдержат, руки все смогут. «Хапалки, давилки, хваталки — вот они, руки без души», — говорит Мартын Петенбург. Потому-то и не безразлично, какие руки берутся «равнять» людей «по справедливости» в поморской Вазице или еще где...

Старый Мишка Крень в «Крылатой Серафиме», этот «угрюмый и угрозливый сук», словно выброшен на берег после сильной и долгой бури, а могло бы выбросить, вынести и убитого им Акима, и это он бы теперь сидел на китовом позвонке и смотрел в море... Еще Нюре Питерке было открыто, сколь сильно раскачали люди жизнь, и беде своей Нюра не удивилась. Тимофею Ланину суждено видеть, как жизнь успокоилась, но от старого обугленного Креня ему почему-то трудно отвести взгляд, словно он надеется что-то разгадать и понять там, вдали, откуда так долго несло Мишку Креня к этим пустынным для него берегам...

Нет, не романтическое сказание сочиняет Личутин о дорогом ему Зимнем береге, о своем поморском доме. Он пишет историю людей с этого края света, историю их опыта и духа. Он готов писать ее, доставая из самой последней, наивозможной глубины, вести из колена в колено родословную народа, которому принадлежит. Такие истории невозможно писать на языке срединном и всеобщем, упускающем богатство и неповторимое разнообразие народного опыта, и Личутин избрал язык, который уже сам по себе — память, история и душа Поморья.

...Разглядывая, как диковинку, вернувшегося из небытия Мишку Креня, Тимофей Ланин говорит о том, что не должно же случиться так, чтобы «просто ушел человек», чтобы умер «не высказавшись...».

Владимир Личутин строит свой художественный мир с надеждой, что в нем выскажутся все, и никто не канет бесследно. Древо памяти продолжает расти.

Игорь ДЕДКОВ

89 к.
70782
53